

Медведская Ксения Дмитриевна

## **ВСЮДУ ЖИЗНЬ (БЫЛЬ)**

Светлой памяти  
Людмилы Кузьминичны Шапошниковой (жены Чудова)

### **Предисловие**

Эта книга о делах минувших, друзья! Пишется она в 1975 году, а события, которые я старалась передать здесь, происходили 38 лет тому назад.

Многим знаком этот 1937 год по литературе, как ранний период больших переживаний в нашей стране, порожденных культом личности, Казалось бы, довольно об этом. Но ведь прошлое нашей страны – это её история, поэтому хорошо, если в литературе она освещена достаточно полно. Вот я и хочу описать то, чему я была живым свидетелем, но чего пока не встречала в печати. Дело в том, что в период, когда были возможны необоснованные аресты, были арестованы и часть родственников осужденных по политическим статьям, особенно их жены.

Неся на себе тяжесть ареста и осуждения по статье «Член семьи изменника Родины» (ЧСИР), арестованные женщины не раз высказывали мысль: неужели о нас не напишут впоследствии, о нашей судьбе, о том, что мы не были виноваты перед нашей Родиной. Что все годы заключения мы провели с верой в то, что справедливость восторжествует. Что трудились мы в лагерях так же честно, как это было на воле, не раз удивляя этим наше лагерное начальство,

Действительно, достаточно посмотреть сводки выполнения плана производства (ибо и в лагерях, где трудятся, также работают по плану). В этих сводках сто пятьдесят-двести процентов выполнения – не редкость для наших ЧСИРов, скорее правило.

Справедливость восторжествовала, ибо и женщины, подобно мужчинам, были впоследствии реабилитированы полностью, им вернули жилплощадь в городах, откуда они были взяты, Я знаю многих своих друзей, живущих снова в Ленинграде и в Москве в хороших квартирах. А все-таки осталась без освещения в литературе эта часть нашей общественной жизни. И я так часто вспоминаю об этом нашем желании, вполне, мне кажется, обоснованном.

Пусть познакомится наш советский читатель, с событиями тех дней, когда наши женщины показали себя достойными патриотами, такими же честными трудящимися в заключении, какими были на воле. Много оптимизма, много веры в своих мужей пронесли они через эти годы.

Среди них люди-карьеристы, способные строить свое благополучие за счёт других, были всё-таки исключением.

Немало забытых мною фактов напомнила мне та Ушакова Антонина Ильинична (Тося), которая описана мною в этих записках. Всегда она была отличным товарищем, такую и осталась. За её большую помощь в составлении этих записок я очень её благодарю.

В книге также возможны некоторые смещения во времени из композиционных соображений. Сами же факты – только подлинные, имевшие место в нашей общей жизни в заключении.

К. Я. Медведская

## Глава 1. День накануне

О, дорогой Ленинград! Твоя красота совершенно подобна музыке. Она обнимает душу, царит в ней помимо воли идущего по твоим строгим улицам. Такова сила великого, непреходящего искусства архитектуры. И, если часто говорят, что люди Ленинграда особого склада, то это следствие твоей красоты и строгости.

Всякая красота – сила, сила самая положительная в мире. Она облагораживает и манит к лучшему. Она твердит, что все и вся должно быть прекрасно. И что же способно более постоянно, более всеобъемлюще влиять на нее, если не ты, великое и могучее зодчество. Ты живешь века и простираешь свое величие на многие поколения людей. Ты встречаешь нас всякий раз, когда мы выходим из дома, и говоришь с нами постоянно, не ожидая, когда мы изыщем время для общения с другими видами искусства. Ты не прячешься за стенами Эрмитажа, не лежишь на столе закрытой книгой, к которой мы стремимся, но слишком мало имеем для нее времени. Для тебя не нужен билет в театр или упоительную филармонию, где царит музыка, искусство великое из великих.

И многие справедливо считают твой род искусства, великое зодчество, самым крупным по значению в нашей жизни. Ты облагораживаешь людей даже помимо их сознательного стремления к искусству и красоте. Ты царишь на улицах и площадях и несешь гимн красоте во все души людские.

Ленинград. Ленинград. Ты гордость и ты слава россиян.

В том году осень в Ленинграде была теплая, солнечная. Люди ходили по-летнему. Улицы улыбались, залитые солнцем. Кое-где ослепительно сверкнет окно, мягкий ветерок шалит в моем шарфике. Я иду пешком домой по проспекту Володарского (Литейный) прямо от Невского. Не хочется садиться в трамвай, потому что хорош воздух, и хорошо думать в пути. Что скажешь? Тогда мне было 26 лет.

Но было о чём и подумать. Дома ждали меня сын Митя с няней Ирой. Для них я была старшей во всем.

В ту пору я жила на этой самой улице Воинова, дом 26, что как раз напротив "нового дома НКВД", как все называли действительно новое девятиэтажное здание серого цвета.

У него большие окна, но расположены они высоко, в них не заглянешь. Дом фундаментальный, большой и солидный. Он красив, но он и мрачен. А если добавить мысль о его значении, то это уже область не вполне

понятная, а потому тревожная. Он поглощает людей, и на возврат слишком мало надежды. Правосудие? Пусть бы так, но засекреченность? Каждый день, идя на работу, я спускалась с пятого этажа, пересекала двор, и прямо против ворот на улице меня встречал "новый дом НКВД". Он всё-таки был загадкой.

Не понимала я тогда, что такое политика и какие приемы ей свойственны. А надо понять, всё понять, что непонятно вначале. И потому думается нам обо всём.

Сейчас я шла по Литейному, окруженная тёплой и радостной атмосферой раннего вечера. Под ногами были каменные плиты и асфальт. Было очень хорошо идти, и окружающая жизнь словно говорила: «Да, много есть элементов счастья для человека».

Что же всё-таки такое счастье? Счастье это ощущение гармонии. Если сам человек враждебен миру, если плох в чём либо, он уже нарушает жизненную гармонию. Он дисгармоничен, он – палка в колесе. Вреден. Плох.

Но ведь можно оказаться и в самом деле в роли глупой палки в работающем колесе, т.е. стать помехой случайно, по неведению. Как тогда? Вот это самое «неведение»! Это тоже корень зла. А надо же знать. Как можно больше знать обо всём. Возможно ли это? Разумеется!

Пусть мне простят читатели эти рассуждения. В ту пору, да, по правде сказать и всю жизнь, они меня очень занимали.

Не может быть, чтобы людям был сужден удел слепых щенят в чём бы то ни было...

– Ой, простите пожалуйста!, - задумавшись, я чуть не уронила ребёнка, обежавшего вокруг своей бабушки и тут столкнувшегося со мной. Досадно и смешно. «Философия» до добра не доводит.

Однако, пусть. Это слишком мне необходимо – иметь время подумать. Утром спешу на работу в переполненном трамвае, с трудом выхожу, и тут только время уворачивается, перебегая без задержки через дорогу перед всяким транспортом. О, я это делаю довольно часто. На работе, само собой, некогда. Дома меня ждут мои домочадцы, им скучно весь день только вдвоем. Да и об ужине надо хлопотать. А когда они уснут, я пишу мужу, пишу маме, читаю, чиню. Мало ли что надо. Не забыть бы зайти за хлебом, вот уже видна булочная, И еще нужен сахар.

Купив всё это, я уже подошла к улице Чайковского, И тут на углу увидела знакомый красный вязаный костюмчик. Это мой Митенька с Ирой. Ему три с половиной и он чем-то занят под деревом, но Ирочка, увидев меня, уже тянет его за ручку:

- Мама, вот уже и мамочка наша! Гляди, гляди!

Обнимаю обоих. Идем к дому и болтаем по пути. Я беру Митюшу на руки, но он вскоре вырывается – идти интереснее,

Ира говорит: «Знаешь, ты мне как сестреница, я так чувствую. Правда, совсем сестреница».

Нам обеим по 26 лет. Её слова меня трогают. Сколько раз впоследствии вспоминала я эти признания!

Ира из числа вполне хороших людей. Мы взяли её на должность няни, как тогда бывало у многих работающих, два года тому назад, когда решили с мужем взять от своей мамы Митюшу и воспитывать его самим. Это было очень правильное решение. Мы скучали о нём и смутно чувствовали, что ребёнок в самом деле должен воспитываться самими родителями, чтобы крепла внутренняя связь его с нами. Мы, конечно, работали оба, ясель тогда было совсем еще мало. Значит, понадобилась няня.

Не помню, как я повстречала Иру, но была она только что из деревни, не умела даже зажечь керосинку, и к нам привязалась быстро. Мы зажили вчетвером.

И вот, 9 месяцев назад, 26 ноября 1936 г. арестовали мужа и отвели в этот самый "новый дом НКВД". Дня меня это было тягчайшее горе. Мы глубоко любили друг друга. Я не знала, что и как будет дальше, но сомнений в его моральной чистоте не могло быть. Далеко не он один подвергся внезапному аресту, мы слышали об этом не один раз. Шли среди этих несчастных и знакомые, были и очень уважаемые люди, были уверения их жен и родителей, что их-то сын не мог быть ни в чём виноват!

И вот теперь – мой. Тогда мы сидели с ним рядом в нашей маленькой комнате. Шел обыск. Приказали поднять ребёнка и обыскали кроватку. Но он почти не проснулся, и я положила его обратно. Накануне вечером, словно предчувствуя что-то, отец долго играл с ним и возил его на себе, а я радовалась, на них глядя. Иры не было дома, она заночевала у подруги и должна была вернуться утром. Мысль билась между двумя вопросами: «Неужели его, его возьмут совсем скоро? Кто это делает?» И еще: «Ни о чём не надо думать, только впитывать, впитывать эти последние минуты, последние...»

Я старалась запомнить всё-всё, но не могла осмыслить ничего. Мы сидели плотно рядом с сухими глазами. Он отвечал кратко на их вопросы, что-то говорил мне, но немного. Это были слова заботы о моём будущем.

Ничего не нашли, что взяли – не помню. Помню, как наклонился он к сыну, последний раз поцеловал спящего. Помню, как я стояла на площадке лестницы и смотрела на него, а он спускался между двумя солдатами и махнул мне рукой – это тоже было последнее.

А потом я осталась одна, страшно одна среди хаоса вещей. Но насколько он больше одинок, чем я? За что?! Почему я так мало успела сказать ему? И уже не исправить...

А потом... Потом я стала прибирать вещи, а то скоро проснется сын. И заплакала только тогда, когда пришлось заводить часы, – это всегда делал он сам... Так, иные мелочи дают разрешение слезам, тогда как в трудные минуты плачет не каждый.

Ира вернулась, когда сын еще спал. Как-то сама всё поняла и заплакала, обняв меня крепко. Я же говорить почти не могла, слова были невозможны. Ушла на работу, но сначала заехала на Васильевский остров к свекрови с этим известием. Любовь Николаевна была умной и мужественной женщиной. Она всё перенесла без упадка сил, но как-то не сумела дать и мне опору во взглядах. Одно только помню: «Не верь, Ксана,

ничему не верь, что тебе будут говорить. Сами они ничего не знают, это слепая машина».

На работе отнеслись сдержанно, но ничем не мешали работать. Я побаивалась, чтобы меня не уволили. Нет, не сделали этого. Там я работала уже пять лет. Была бухгалтером, относились ко мне хорошо. Наш главный бухгалтер Борис Александрович Власов был сам очень молод, моложе меня. У нас был дружный, в основном молодежный коллектив.

Потом я пошла в здание на углу пр. Володарского и улицы Чайковского, где давали справки о заключённых. Это помещение было на месте бывшей церкви, много лет знакомой мне с детства. В детстве я жила с родителями неподалеку, на Сергиевской улице, дом 79. Теперь это улица Чайковского, одна из любимых мной улиц Ленинграда.

Была очередь. Длинная очередь, прямо на улице. Большинство людей угрюмо молчало, не хотелось говорить с ними, хотелось побольше узнать о том, что может ждать впереди. Кое-кто осторожно говорил. Выходило, что в скором времени никаких надежд на встречу нет. При предварительном следствии свиданий не бывает. А людей так много взято, следствие может затянуться.

Вот моя, наконец, очередь. Вхожу за тяжелую резную дверь. В обширной комнате, почти пустой, за столом военный офицер. Лицо неприятное. Я шла сюда за ответом на слишком важные вопросы. Знала даже, что мало узнаю, но сердце тяжело замирало и ждало всё-таки многого. А он неприязненно взглянул, как на одну из многих надоевших, и, едва поняв, о ком речь, начал вдруг кричать на меня. Что мой муж – враг народа и изменник, а я еще пришла спрашивать! Забыть надо о нем немедленно. Да, находится у них, но следствие не кончено. Да, не раньше, чем через месяц.

И всё. А через месяц на третьем свидании с ним всё тот же военный сказал мне, что мой муж осужден по ст. 58 на десять лет заключения со строгой изоляцией по решению Выездной сессии Верховного суда СССР.

Да, я плакала тогда. Не при нем, а уже дома. Это были безнадежные слёзы о жизни любимого, прекрасного человека. Как он перенёс это? Что думает сейчас? От людей «из очереди» я знала, что их еще не увезли, но скоро увезут. Писем и передач не приняли. Какая-то глухая стена была между нами. И, боже мой, как мало было здесь понятного! Много придётся думать и узнавать, пока станет что-либо ясно. Впрочем, не будет в этом утешительного, Есть вещи, которые лучше даже не знать. Но тогда я не могла так думать.

Большое одиночество. Люди стали избегать общения со мной. Родные сочувствуют, но как-то наспех. Видимо, и они боятся. А может быть, мне так казалось? Но это было совсем тяжело.

Пора было налаживать дома новую форму жизни. От меня зависела судьба двоих – сына и Иры. Если все боятся, то опасно и для Иры. Как я раньше не подумала? Я стала в положении виноватой перед людьми.

Вечером, уложив Митюшу, мы заговорили с Ирой. Но она качала головой и не считалась с опасностью. Однако этим не исчерпывался разговор. Я сказала ей, что и условия жизни теперь во многом изменятся;

один мой заработок заставит экономить и экономить. А приближающийся годовой отчёт, когда свыше месяца мы работаем и по вечерам, – это будет так тяжело для неё, молодой девушки в обществе одного только ребенка. Я предлагала ей искать потихоньку другую работу. Но Ира осталась со мною. Она была на редкость хорошая. И мы коротали с ней эту зиму: я на работе до 9-10 часов, она стряпала, закупала продукты вместе с Митюшей, кормила его, всё-всё делала. Успевала и постирать, и была одна – молодая, цветущая девушка. Сохранился у меня её портрет, где мы с ней сняты: она, Митенька и я. Как сейчас её вижу – чёрные глаза, завидный румянец и ямочка на подбородке. А вот фамилию её не помню. Где-то она теперь?

Из просочившихся слухов я узнала, что под самый Новый год мужа отправили этапом, но куда, я не знала, – и так и не дали с ним увидеться. И – ни строчки. За это время я три раза была в справочном отделе НКВД. Попусту. Но вдруг в феврале – письмо. Его письмо! Была это такая радость, каких немного бывает в жизни. Оказалось, что он в Соловках, адрес – станция Кемь, 8 отделение ББК НКВД. Это строительство Беломорско-Балтийского канала (ББК). Написала ему сразу же. Много тогда написала ему. Всё основное, о чём думала неустанно все эти три месяца, – что буду ждать его, о нашем житье втроем. На всякий случай (не знала, можно ли) послала и посылку, куда постаралась вложить, кроме тёплых вещей, понемногу всего того, что он любил из еды. Посылка дошла, но как же это оказалось глупо! Потом поняла из писем его и других. (Я встречалась с двумя такими же женами. Познакомились в очередях у «Справочного» и договорились сообщить друг другу сразу, как только кто-либо получит весточку от мужа или, хотя бы, о нем). Мы поняли, что они были голодны: шоколад, сушки и т.п., это совсем не то. Нужна была крупа и, если возможно, сало. Ничего этого определённо муж не писал, но это было очевидно. Потом я посылала крупу, чеснок и сало.

Помню одну его фразу из письма: «... надо иметь резиновую психику, чтобы переносить всё, что видишь». Как это пропустили? У них была цензура.

В июне у меня взяли подписку о невыезде, У некоторых других тоже. Что это означало? Пристальное внимание, ссылку? Разное говорили люди, но уже были факты высылки семей некоторых арестованных.

Итак, мы шли к дому втроем. О тревожном говорить избегали. Я стала опять учить Иру всматриваться в лица встречных. Это интересно и всегда ново. Вот как раз пара, им лет под 35. Она говорит что-то с молодым воодушевлением, умные глаза чуть насмешливы, он же идет сзади со скучающим видом. Его лицо серо и неприятно. Стоит зарисовать, да некому. В ранней молодости мне казалось, что всего желаннее иметь голос и петь. Голосом можно так много передать! А теперь ценю больше дар художников. Ира соглашается, но говорит, что не все лица много говорят сразу. Совершенно верно, многие лица просто непроницаемы. Не только не скажешь, добр ли их хозяин, но даже возраст определить очень трудно. А про некоторых можно сразу сказать, что человек умный или добрый. На некоторых лицах это буквально вычерчено, и таких я особенно люблю и

жаль, что нельзя с ними поговорить.

Мы пришли. Поднимаемся по лестнице (есть лифт, но он бездействует много лет). Лестница широкая и светлая, несмотря на пыль и паутину на высоких и широких окнах. Митюша устал и молча поднимался, держась за железные завитушки под перилами, ручки у него запачкались, и дома он капризничает, не желая умываться. Но у Иры настроение хорошее: впереди целый вечер вместе. Это было 2 сентября 1937 года. А утром...

## **Глава 2. От сумы и от тюрьмы не отказывайся**

Утром 3 сентября нас разбудил ранний стук в дверь. Было 6 часов утра. Я открыла с тревогой, и не зря: вошли трое военных и один штатский (это так называемый «понятой» – какое странное слово!). Так же, как было 26 ноября при аресте мужа.

Прошли в комнату, и начался обыск. В кухне Ира растерянно одевалась. Один из солдат, дежуривший у двери, слегка отвернулся, Митюша еще спал. Люди эти были молчаливы и строги, но меня никто не обидел и дело свое они совершали как-то поверхностно, быстро. Видимо, не ожидали найти что-либо.

Я же сознавала, что происходит что-то неотвратимое, как сам рок. От меня уже зависело так мало, и я могла только сказать Ире, чтобы она отвела после меня Митюшу к моей тете Наде, что живёт недалеко на ул. Чайковского. Ира хорошо знала её адрес, бывала там: это сестра моей мамы. Она, конечно, сообщит маме в Новгород. Мама так любили внука.

Сама же Ира разом лишилась и работы, и крова. Ей я ничем не могла помочь. Поедет ли она домой к своим родителям, или найдёт себе другое место работы в Ленинграде? Этого мне было уже не узнать. Но если бы случилось прочесть тебе эти строки, Ирочка, прими мой привет и благодарность за всё, что ты сделала для моей семьи и меня.

В 7 часов велели поднять сына, одеть его и одеться в путь самой. Я собрала с собой кое-какие вещи из одежды, квартиру опечатали, пошли. На Митеньке был его красный вязаный костюмчик с такой же шапочкой, милое, бесконечно милое детское одеяние.

Я отнесла на руках вниз моего мальчику. Такого детского тельца не будет со мной, наверное, долго. Все было так неясно, и теперь, и впереди. И всё-таки слез не бело. Я плачу в минуты слабости. А в трагические минуты бываю собранной, я уже это знаю.

Меня ждала у подъезда легковая машина «эмка». И стояла она не во дворе, а у парадного на набережной Невы. Дом наш окнами смотрел на Неву.

Помню, успела только поцеловать Митюшу и Ирочку, два-три слова, и конвой заторопил меня садиться. Машина повернула на Литейный мост и

так быстро доставила на Арсенальную набережную в тюрьму, что, наверное, это было недалеко. Вот так, за один час перевернулась жизнь моей семьи.

В новом моем положении исправлять пока ничего было нельзя. Но оценить взглядом внезапную перемену было можно.

Итак, я и тюрьма. Н-да, убили бобра! В свои 26 лет во многом я была наивна. Это хотя и плохо, но досталось мне как некая характерная черта натуры и улетучивалась очень туго. И все-таки, чем похожа я на будущую арестантку? Политикой не занималась, да и мало ею интересовалась. От воровства была далеко, равно как и от убийства. Эта область, эта жизнь в чаду преступлений мне была вовсе не нужна. То, что меня интересовало в жизни, законом не каралось. В самом деле, в жизни слишком много стоящего внимания из области природы, людских характеров, литературы и множества наук, из которых буквально почти все меня интересовало в ту пору (хотя бы так казалось). И зачем бы было нужно уходить от этой манящей жизни в область погони за большими деньгами, например? А если так, то и получалось, что мудрую пословицу «от сумы и от тюрьмы не отказывайся», я считала всё-таки нелепой: да, сума, т.е. бедность, возможна для всякого; болезни, неудача могут быть у человека, а уж голод возможен и в целой стране, как было в годы моего детства (эпоха гражданской войны). Но тюрьма? Вот уж это казалось нелепостью в той мрачной пословице. С какой стороны я объект для тюрьмы? Некий несмышленный щенок?

А сейчас вспомнилась эта пословица, и я шла куда велели, сознавая себя уже арестанткой. Оставалось наблюдать эту всё-таки невероятную обстановку. Да гнать подальше боль в душе при мысли о семье, особенно, конечно, о сыне. Это боль властная, но вредная, она из области бесполезного. Там, где нельзя помочь, нельзя и предаваться боли. Это тоже было чертой характера и такой, которую я потом всегда старалась привить людям. С нею легче, много легче жить, и формулируется она так: стараться не думать о том, чему нельзя помочь. Не давать себе бесполезно растравлять раны. Надо сразу глубоко обдумать ситуацию, и, если помочь нельзя, то нельзя больше и думать об этом. Жизнь требует сил человека, они нужны для многого, и нельзя их не беречь. Как часто люди бьются от горя, помочь которому нельзя. И долго, иногда очень долго их мучает пронёсшаяся буря, лишая сил. Поднялись на третий этаж (или четвёртый, не помню), и узким коридором дошли до простой двери, за которой оказалось очень большое помещение, застроенное сплошными нарами из новых досок по стенам и посередине, наполовину занятых людьми. Это был тюремный клуб, переделанный в камеру из-за большого наплыва арестованных. Дверь громыхнула запором. Здесь много не разговаривали и поворачиваться требовали быстро. Что-то подобное обращению с лошадьми.

А люди в камере были все женщины, вроде меня, – явно недавно взятые и одиноко жмущиеся, лежа на нарах. Смотрели горестно перед собой, не замечая окружающих. Кое-кто спал, кое-кто плакал, разговоров почти не было. Мое появление ничем отмечено не было. Видно, часто пропускала эта дверь новеньких. Я тихо прошла к свободному месту и забралась не нары, ответив на два-три вопроса о муже. Люди уже знали, что здесь собрали



именно жен арестованных мужей, изредка оказывались здесь сестры и даже матери арестованных.

### Глава 3. Полина, Тося, Мери и другие

На другой день, когда утихло ошеломление, и факт остался фактом, я опять старалась что-либо понять. Оглядеться. Прошли сутки, полные переживаний – боль отрыва от семьи, мысль о них, о теплых ручках сына, о его и своей судьбе, об ударе для моих родных, о значении оконных решеток – всё это было со мной, и не обещало изменений. Разумеется, не сразу человек может оторваться от мысли о глубине постигшего его горя. Но жизнь сама умеет помогать в беде, не давая предаваться отчаянию. И это делают её мелочи, отвлекающие, заставляющие обратить на них внимание. Приносят еду. Кого-то вызывают за дверь камеры – часовой сопровождает и возвращает ее затем обратно. Люди встревожено встречают её и задают вопросы. Оказывается, её вызывал к себе следователь. Она напугана этой неожиданностью, и женщины пока оставляют вопросы: кто-то протягивает ей чай, кто-то угощает чем-то. Опять вызывают другую. Все притихли. Начались частые вызовы, и те, что возвращались, уже рассказывали нечто однородное: следователь требует дать показания об антисоветской деятельности мужа. На её ответ, что она не только ничего не знает, но уверена, что этого не может быть, следует недоверие, подозрение её в умышленном скрывании фактов, обвинения в антисоветских настроениях. Затем человека, разумеется, с конвоиром, отсылают обратно в камеру с требованием подумать хорошенько до следующего вызова. Первые дни была такая картина: каждую вернувшуюся сразу окружали многие и слушали её описание того, что было с ней за дверью. Впоследствии люди становились все осторожнее, и мало кто задавал вопросы, а пришедшая отвечала лаконично и тихо. И лишь в кругу близких соседок шли тихие разговоры и обсуждение фактов нашей жизни, опять же с целью что-либо понять из происходящего. Не обошлось без анекдотов: одна из нас, крестьянского вида женщина с красным кушаком на поддёвке, передала так свой разговор у следователя:

– Ваш муж занимался подпольем?

– У нас в подполье, кроме картошки, ничего нет, – ответила она ему.

Люди искали ответа на основные вопросы: за что их взяли, кому нужно это горе столь многих людей, и знает ли об этом правительство, сам Сталин, или это чья-то роковая для нас ошибка, которая неминуемо выяснится и, конечно, развеется в прах, безусловно, скоро.

Эти вопросы, эти мысли были одни и те же у каждой, и всё с момента ареста было настолько общим для всех, что рождало мысль о сходстве с неким интернатом для детей, руководимых авторитетными людьми, но невинных самих по себе. А общего у нас было много, и, в основном, сводилось к следующему: женщины сами работали, имели нередко большие

должности до директоров предприятий включительно. Многие были членами партии, коммунистками, были и окончившие Комвуз. Для нас не было безразлично, что факт ареста невинных людей возможен стал в самой справедливой стране на земле, и это наносило рану чувству патриотизма, не умаляя его. Было, можно сказать, чувство обиды за то, что в нашей стране возможна несправедливость, даже произвол. Будучи сами невинными, мы тем более верили в невинность мужей, которых мы знали, как людей глубоко советских. Их арест был личным горем каждой из нас, считавшей его роковой ошибкой следователя. Нас же арест стал для нас подтверждением невинности мужа, по аналогии.

Но было еще третье обстоятельство, тоже общее: мы были матерями. У нас остались дети, и дети наши, потеряв сначала отца, с арестом матери теряли вообще свою семью. После нашего ареста квартира опечатывалась, кое-кто смог передать детей родным, как и я, но большинство детей было выведено из опечатанной комнаты в коридор, и мать, которую уводили, могла только догадываться, что детей возьмут в детдом, ибо далеко не всем удалось это знать. Попав в тюрьму, несчастные матери с первого дня стали просить уведомить их, где теперь их дети. Им обещали, но не скоро, ох не скоро стали поступать ответы. Дни проходили за днями в этом ожидании и тревоге. Помню, у одной из нас ребёнок перед арестом был взят в больницу из-за скарлатины, и она так долго не могла узнать, жива ли хоть её годовалая девочка? Это, конечно, рождало много неутешных слез.

Да, было и четвёртое, общее для всех: способность плакать и подчиняться. О слезах я уже упоминала не раз, а вот эта способность подчиняться была специфически женской. Наше начальство и конвой были мужчины. Выносливостью мы богаты, но первенство физической силы мужчин для нас бесспорно всегда. Наверное, на этом основана наша бросающаяся в глаза покорность в тюрьме. Робость и слезы перед грубой силой.

Вот эти четыре особенности наших жен в тюремных условиях, безусловно, были чисто женскими, особенными факторами.

Правда, это можно было понять лишь много времени спустя, в первые дни в голове был хаос. Я смотрела на людей, товарищей нашей общей судьбы. Еще вчера это были деятельные работницы предприятий и главы своей семьи после утраты мужей. Сегодня они в бездействии собраны в этой очень большой комнате. Напротив меня в углу сдружились четверо: они ведут тихо общие разговоры и головы их близко друг к другу. Эти четверо и потом продолжили дружить, когда я их уже хорошо знала. Две были очень молоды, двое – много старше. Как оказалось, молодые были две Нины: Нина Лекаренко, лет 24-х, художница, окончившая Художественную академию в Ленинграде, она вообще была очень одаренная: умна, остроумна, писала стихи и была очень хороша собой – милая блондинка невысокого роста с хорошей фигуркой. Вторая была Нина Старосельская, на вид еще моложе, но высокая и худенькая в коротких светлых кудрях. Третья была некто Донях, фамилия четвертой Басок. Эти последние были старше, за 40 лет, и обходились с младшими заботливо, опекая их. Как, наверное, улыбалась

жизнь этой художнице с её способностями и такой привлекательностью! Сносила она свое положение стойко, и вообще слёз в этой группе не было.

В другом углу тоже сложилась компания, но там плакали часто. Особенно одна, совсем маленького роста, всё старалась сдерживать слёзы, а они у неё поминутно навертывались и вдруг прорывались неудержимо-неудержимо. Имя её было Полина Пахнова. Шло что-то трогательное в её довольно быстрых точных движениях и в этом мужественном стремлении сдерживать слёзы, не вызывать грусть и у других. А это было заметно: вдруг начнёт плакать одна из нас, соседка тоже вспомнит свое горе, и уже плачут обе.

Вот к этой компании близ окна я подошла познакомиться спустя несколько дней. Они меня приняли приветливо, и мы разговорились. Их арестовали 5 сентября, на два дня позже меня, и поэтому я могла рассказать им кое-какие черты быта в этой камере, где они проводили второй день, а я уже четвёртый. В нашем недавнем прошлом оказалось много сходного. Тосе Ушаковой и Полине Пахновой по 38 лет. Когда вчера Тося оказалась, подобно всем нам, в этой камере, она тихо села с краю нар, держа в руках свою сумочку, и сидела так почти без движения. Одна из соседок обратилась к ней:

- Устраивайтесь на нарах, ведь здесь придётся вам спать.
- Сколько же дней вы уже здесь? – спросила Тося.
- Я – одиннадцать дней.

«Неужели и мне придется просидеть 11 дней?!» – подумала Тося с настоящим ужасом.

11 дней! Если бы 11 дней! Как рада была бы она и любая из нас впоследствии, если бы это было хоть для кого-нибудь только так!

У Тоси осталась семилетняя дочка Ирочка, и, видимо, она попала в детдом, так как жили они вдвоем после ареста мужа. Тося много рассказывала о ней. До сих пор жизнь этого ребенка была полна родительской любви. Муж Тоси был человеком очень мягкой души и отдавал всего себя горячо любимой семье. Был он начальником Капстроительства Волховского алюминиевого завода имени Кирова, Сама Тося работала телефонисткой и любила свою работу, хотя называла её нервной. Зато на телефонной станции всегда было чисто и даже красиво, а ответственная работа с абонентами невольно подтягивала, заставляла следить за собой.

А Полина была та самая, что так часто плакала, и, рассказывая о сыне, не могла не прерывать слов из-за непослушных слёз. Они у нее так и капали, крупные. Но было в ней и мужество, чувствовался и ум. Когда она вчера появилась в камере после Тоси, то Тося уже несколько освоилась на нарах, и, подозвав Полину, устроила её рядом с собой, практически заметив её маленький рост: не так тесно с нею все-таки. Это с улыбкой объяснила мне Тося впоследствии. Так случайно началось общение с этим прекрасным человеком, нашей Полинушкой.

Полина оставила единственного сына 8-ми лет у своих родных. Но беда

в том, что мальчик был болезнен. Врачи усиленно повторяли, что в воспитании такого ребенка очень важен ласковый подход к нему, неустанное (неразб.). Пришлось Полине оставить работу. В молодые года оставить работу и расстаться с коллективом было тяжело, но выбора не было. И с тех пор она посвятила себя заботам о ребенке и муже. Сначала они жили в Москве, но год назад мужа Полины, человека партийного, перевели на работу в Ленинград директором Гатчинского печатного двора, где потом и случилось несчастье, – арест мужа, а затем и самой Полины. Мальчик был развитым: способным,

но несколько замкнутым, как все больные дети. Общение его с матерью, дружба их составляла стержень его связи с миром. Полина старалась передать сыну в игре что-то полезное для его развития, для этого сама много читала по вопросам литературы, медицины и психологии. «Какая молодец!» – подумалось мне.

Третья в их компании была Клава Смирнова или Клавушка, как они её звали. Клавушке было всего 18 лет, детей у неё не было. Она сама была взрослое дитя, как мы потом её характеризовали. Она была порядочного роста, крепкая в костях, с копной очень густых каштановых кудрей и нежным румянцем. Эти волосы и румянец были самыми привлекательными чертами ее внешности, так как красотой она не обладала, но была привлекательна чем-то детским. Клава недавно из деревни, и её завидное здоровье заметно заставляло ее страдать от скудного пайка больше, чем другие. Плакала она о муже, о своей несчастной молодости, но могла начать и улыбаться сквозь слёзы нашим словам, быстро переходя к беспечности. Она была, действительно, ребенком среди нас.

Четвёртой была Мери Литманович. Она была самая старшая, ей было года 42. Человек этот (мы недавно виделись) меня удивляет соединением мудрости и той полной простоты, которая дает возможность обмануть такого добряка до смешного просто. Мери строга только к себе, все лучшие принципы она считает для себя обязательными, к другим же снисходительна очень, всегда рада деятельно помочь. Её доброта и непрактичность были всегда предметами шуток у нас, и она не обижалась. Ее муж до ареста работал на каком-то химзаводе в Апраксином дворе, о нем она рассказывала редко.

Это первое знакомство было началом нашей дружбы впятером, длившейся полтора года, до нового этапа, оторвавшего меня от них. Но дружба сохранилась до сих пор. Сейчас Тося Ушакова живет с дочерью в Ленинграде, Мери Литманович тоже, а Полина Пахнова – в Москве. Сын её – инженер, он уже женат и имеет сына Сашеньку, внука Полины. Мы переписываемся, недавно виделись в Ленинграде, куда приезжали Полина и я. Все мы уже пенсионерки. О Клавушке сведений не имеем. Зато живет в Ленинграде еще одна из нашей компании – Пружанская Клара, – тогда она отличалась здоровым и очень мягким юмором.

Помню, мысли о несчастье, окружающем меня, столь неожиданным и столь общим, вызывали большое желание как-то их концентрировать, записать. Бумага и карандаш здесь запрещались и отбирались при аресте. Я

ходила взад и вперед по узкому проходу между нарами, стараясь не мешать, когда уже был вечер и люди тихо переговаривались. В прошлом я писала изредка стихи. Я знаю, что поэтом не родилась, и хороших стихов у меня не было, но размер и рифма удавались. И я на ходу понемножечку сложила о нас песню, которую мы потом часто пели на мотив «Замучен тяжелой неволей». Впоследствии мы назвали ее «Арсеналкой», так как наша тюрьма расположена на Арсенальной набережной Невы. Вот её текст:

В стенах Арсеналки угрюмой  
За прочной решеткой окон  
Убитых тяжелою думой  
Немало скрывается жен.

В тюрьму мы попали случайно,  
Не знаем вины за собой.  
Тоскуем, грустим чрезвычайно  
И рвёмся к ребятам домой.

Остались они где попало,  
С соседкою, с няней, одни,  
И, может быть, горя немало  
Уже испытали они.

Всю жизнь до последнего года  
Мы честно и с пользой прошли,  
А нынче врагами народа  
Нас вместе с мужьями сочли.

Улик против нас не имеют,  
Но страшную карой грозят,  
За что же лишить нас посмеют  
Свободы, семьи и ребят?!

Конечно, мы держимся гордо,  
Невинны мы перед судом,  
Но сколько тягчайшего горя  
И было, и будет потом!..

Когда на другой день я прочла наизусть это стихотворение, оно вызвало слёзы, но его быстро запомнили и начали петь тихо хором. Впрочем, оно всё-таки было слишком грустным и рождало часто слёзы. А петь нам запрещали: в камерах петь не положено.

С тех пор изредка я сочиняла вот так стихи без помощи бумаги, их заучивали ближайшие друзья, так как всегда это было о нашей жизни. Несомненно, другие, быть может, много лучше, тоже создавали стихи о всех

нас, но их не обнародовали из осторожности. В дальнейшем, например, мне прочла одна из них свою басню, показавшуюся мне очень яркой, но запомнить мне ее не пришлось: в ту пору уже было немало фактов, заставлявших нас быть сугубо осторожными не только в ответах тем, кто допрашивал из начальства (а начальством нам был каждый солдат и каждый вольный человек), но и между собой. Что делать? Где допросы – там и доносы.

#### **Глава 4. Приговор**

А жизнь шла. Сутки сменялись сутками и, как ни были они однообразны, всё-таки из них выкристаллизовывалась какая-то истина. Истёк уже месяц, и было видно, что положение наше всего более относится к нижним точкам пресловутого колеса истории.

Ведь где-то совсем рядом течет свободная жизнь Ленинграда. Увы, ещё и горячо любимого города! Тем горше положение наше. Кем были мы и наши мужья? Безусловно, честными людьми перед лицом нашей Родины. Кто они, те свободные товарищи, оставшиеся на воле и работающие? Такие же, как и мы. Может быть, лучше? Некоторые найдутся лучше, некоторые – хуже, но, несомненно, одно, главное, – мы не подлежали тюрьме. Это мы знали. Кто же виноват в этой катастрофе? Нам предъявляют обвинение чисто политическое. Но о себе-то я могу знать твёрдо, что непричастна ни к чему антисоветскому. А, скажем, Полина, Тося, Мери, Нина, Клава? Не только они сами отрицают свою виновность, но видно невооруженным глазом, что люди эти просто даже хорошие. Хорошо, а тогда остальные? И остальные тоже. Знать политическое лицо людей, целой толпы, невозможно, но большинство, безусловно, подобно нам. Тогда кто же виноват в нашем аресте? Не так давно прошли процессы группы Бухарина и Зиновьева. Следствие обнаружило целую организацию, сознательно шедшую против партии внутри нее, будучи членами и даже руководителями. Правительство обезвредило их, но шли речи на страницах печати о том, что есть ещё и другие подобные им антисоветские группировки.

Аресты продолжались, но уже всё чаще встречались факты ареста людей, слишком уважаемых. Это рождало большое недоумение, так как выглядело ошибкой, и уже не единичной. А очереди у дверей справочных отделов НКВД были столь многочисленны, и всякий раз кто-то, с кем окажешься соседом по очереди, горько говорит, что её-де муж не виновен. Не верить? А я сама? Не с тем ли фактом я стою? Мой муж был другом и руководителем для меня во многих вопросах, в том числе я хорошо знала его большевистские взгляды. Он не мог быть виноват.

Теперь мы собраны здесь. И при всём желании, зная, что нельзя судить по себе, я не в состоянии видеть в окружающих людях виноватых. Я же вижу людей! Их глаза. Их слова, их скупые горестные рассказы о себе и муже. А порой – очень подробные. Каждый решает этот вопрос для себя. В зависимости от степени доверчивости, некоторые видят полную аналогию

своей судьбы с остальными. Другие допускают виновность соседей по нарам, но исключают себя, и еще кого-то. И получается опять вопрос о какой-то роковой ошибке уже массового характера при этих арестах.

Одним словом, люди видели в этих массовых ошибках чью-то вину. Видимо, виновны работники органов НКВД, так как в их руках следствие. Что это, карьеризм их? Или результат страха пропустить виновных (уж лучше лишнего посадить)? Так или иначе, это должно будет выясняться, и нам вернут свободу. Только скоро ли? Большое количество заключенных говорит о том, что быстро всё разобрано и проверено быть не может, и реабилитация людей может затянуться еще на месяц и более.

Так думали мы. Так говорили между собой. Этим утешали неутешных. Это было нашей надеждой: раз мы не виноваты, нас непременно отпустят, вот только разберутся. И каждая видела уже близкую встречу с семьей, особенно с детьми.

Меня лично за эти полтора месяца следователь вызывал три раза, и его слова были однородны: он не верил в мою невиновность, он доказывал, что не могла жена не знать, не видеть, чем занимается её муж, какую подозрительную, если не явную, ведёт работу против Советской власти. Мою твёрдую веру в мужа он считал притворством, обманом следствия. А меня, за скрытие деятельности мужа, человеком даже антисоветским. Требовал, чтобы я подумала и раскаялась в преступной деятельности, и с этим отпускал обратно в камеру до следующего вызова. Сознание, что я всё равно не смогу сказать ему ничего иного, и, обманув его надежды, этим ещё более дам ему повод мне не верить, было мучительно, и было в этом что-то безвыходное. Сейчас это называется необходимостью доказывать, что ты не верблюд.

Но не у всех дело ограничивалось этим мучением, так сказать, психологическим. Бывало, что к иным из нас следователи (а они были разные) применяли и рукоприкладство. Но надо сказать правду, что это бывало редко. Помню, одна из нас, женщина уже немолодая, лет под 50, всегда возвращалась в слезах и даже в истерике. И была она из тех с виду слабовольных, несколько рыхлых женщин, которые мало подходят к настоящей работе с политической окраской.

За эти полтора месяца многие из нашей камеры сдружились, часто компаниями. Так и наша компания сроднилась, мы жалели друг друга, старались поддержать унывающих. Особенно часто приходилось уговаривать нашу Полинушку, совсем неутешную маму своего больного ребенка. Ели сообща и делились вещами, и тем более едой, если у кого что-то было.

Погода портилась, было пасмурно. И то удивительно, что в первых числах сентября, когда нас «брали», стояла такая тёплая и солнечная погода, как летом. Для Ленинграда это была роскошь, и все радовались теплу. Но зато это сыграло и плохую роль для нас: многие были взяты совсем налегке, в лёгких платьях и туфельках с шелковыми чулками. В тюремных условиях, что и говорить, это было непрактично.

Числа 15 октября вдруг (здесь всё делалось только вдруг) появилось в коридоре начальство. Одна из наших, побывавшая в коридоре по пути в туалет, сообщила нам, что из ближней камеры вызывают людей по списку, и ей запомнилась фамилия нашей Тоси Ушаковой.

Все страшно встревожились: это было похоже на вызов на долгожданную свободу. Тосе стали шептать в уши адреса и имена своих родных и детей, сыпались просьбы зайти и сообщить, что с нами. А Тося собирала свои вещи и с тоской понимала, что запомнить этот шквал просьб и адресов просто не в состоянии. Забегая вперёд, окажу, что этот случай дал нам понять, что знать адреса хотя бы ближайших друзей необходимо, и мы стали заучивать адреса друг друга уже на всякий случай.

Звякнула дверь. Она открывалась всегда с тяжелым металлическим щелканьем. Вошли со списком и к нам, и было громко объявлено: «Слушайте внимательно. Все, кто поименован в этом списке, должны выйти из камеры с вещами». И последовал перечень фамилий, почти половина присутствующих. Люди прощались друг с другом. Почти все верили, что это свобода. И опять шептались адреса, адреса... В списке была действительно Тося, и я, и почти вся наша компания.

Людей вывели в коридор и остановили, за нами звякнул запор нашей уже бывшей камеры. Затем все стали тихо спускаться по лестнице, только чей-то чемодан шумел, прыгая со ступеньки на ступеньку. Нас вывели во двор и повели в другое крыло тюрьмы. В коридоре нижнего этажа распахнули дверь и сказали: «Занимайте места».

Это была первая настоящая камера, ожидавшая нас. Под потолком было маленькое зарешеченное окно, в углу за фанерой имелся туалет. Нары уже в два этажа. Несколько больше было света и воздуха в нашем «клубе», где окна большие и нары в один этаж! Там лились на нас потоки неожиданных горьких впечатлений, здесь оказалось их продолжение.

Мы уже поняли, что свобода отступила от нас. Набив камеру до отказа, закрыли дверь. Людям пришлось размещаться на нарах и даже под нарами, просто на полу. Все были глубоко подавлены и как-то притихли вдруг. Стали по очереди заглядывать в волчок (круглое отверстие в дверях всех камер для наблюдения за заключенными): каков коридор и что там делается. В коридор внесли большой стол, его поставили в конце коридора поперёк и покрыли красной материей; поставили графин с водой, и стакан, три стула. На них сели трое военных. Камеру открыли снова со словами:

– Подходите к столу по очереди!

Близко от дверей стояли Тося с Полиной, и Полина сказала: «Тося, пойдём?» И пошли к столу самыми первыми. Все мы, остальные, ждали с бьющимся сердцем, что же последует, что это значит.

А на столе лежали две стопки бумажек, тонких и маленьких, размером приблизительно 10 на 20 см. И ещё какая-то конторская книга. Спросив фамилии подошедших, военные залистали стопки бумажек, и один сказал: «У меня нет», а второй нашел их листки и сказал: «Прочитайте и на обороте напишите: читала



такая-то».

Это был текст приговора Особого Совещания НКВД, гласивший, что такая-то приговорена к восьми годам исправительно-трудовых лагерей, И всё. Судебная процедура прошла без нас. Мы извещались о ее результате. Недаром нас осудило Особое Совещание – у него особые полномочия. Прочитав, Полина сказала:

– Так, за что же?

Было отвечено: «Распоряжение правительства». Услышав это, уже уходившая Тося сказала: «Во всяком случае, очень грубая ошибка правительства». Каким-то чудом репрессий не последовало. Обе, ошеломленные, направились обратно в камеру по указанию военных, где их ждали товарищи, уже много понявшие, хотя слышно было не всё. Поэтому задавали вопрос: «Сколько?» – И те ответили: «Восемь». И так потянулась очередь, один за одним к столу за собственным приговором. Вышла и я. На их вопрос назвала своё имя и фамилию. Военный стал бегло читать мне текст моего приговора: «Решением Особого Совещания НКВД СССР от такого-то числа октября месяца 1937 года, осуждена на пять лет дальних лагерей (в скобках – Нарым), как член семьи изменника Родины. Распишитесь!»

Я взяла листок и прочла этот текст дважды, благодаря чему запомнила его почти дословно.

– В чём я должна расписываться?

– В том, что приговор доведен до вашего сведения.

Я расписалась. На руки мне никакого документа не дали, и я вернулась в камеру, а оттуда шла уже следующая. Вся процедура не заняла и пяти минут.

Получали по 5 и по 8 лет, только 2-3 человека получили высылку. Пропустив всю камеру, двери закрыли. Но одна из нас, Клара Пружанская, не вернулась: ей дали карцер, 15 суток, за то, что расписываясь, она сказала: «Интересно, сколько вам потом дадут за это?» У Клары малый, живой и непосредственный характер. И вот какую службу он ей сослужил.

Люди приняли приговор мужественно. Не было видно слёз. И только одной стало плохо: у нее была беременность, и она упала в обморок. Скоро у нее начались преждевременные роды, её увели в тюремную больницу.

Оказалось, что и в нашей компании по пять лет получили только я и Клавушка, остальные – по восемь. И вообще, пятилеток оказалось меньше, чем восьмилеток.

Не плакала и я. Я была частью чего-то массового, общего страшного несчастья. И было жаль всех.

Скоро лязгнула дверь, вошло двое военных, и нам скомандовали встать. Началась проверка по фамилиям. После переклички и неоднократных подсчётов, они ушли. Мы уже в «клубе» привыкли к таким проверкам, но здесь было так тесно, что все сразу на полу просто не умещались, хотя и эта камера немаленькая. Часть людей стояла, а часть оставалась на верхних нарах, придвинувшись к краю, чтобы нас можно было пересчитать.

## Глава 5. Зека.

С тех пор мы стали настоящими зека. Зека - это сокращение слова «заключенный», оно так и пишется официально в тюремных и лагерных документах, обычно через дробь: з/к. Впоследствии я встречала в литературе слово «зеки». У нас так никогда не говорили и не писали. Слово «зека» означало и единственное и множественное числа.

Жизнь наша с момента приговора заметно изменилась. Допросы прекратились. Несколько дней было тихо, за исключением обязательных проверок, к нам никто не заходил из начальства. Почту мы получали через окошечко в тяжелой двери. В камере всегда одна дверь и всегда солидная. Но ведь мы были сначала в бывшем клубе, там не было окошечка в двери – для раздачи еды она открывалась полностью. С момента получения приговора мы и морально как-то изменились. До сих пор было больше надежд, и была какая-то разношерстность собранных в камеру людей. Теперь у нас стала общая судьба, и горе каждой стало конкретнее.

И вот иногда кто-то из нас запевал приглушенно (у многих были голоса), а кто-то закрывал спиной волчок, – и все слушали. Особенно хорошо спела одна, до сих пор помнится:

Как дело измены, как совесть тирана,  
Осенняя ночка темна.  
Темнее той ночи встает из тумана  
Видением грязным тюрьма...

Голос был низкий, и песня звучала трагично. А однажды Тамара Николаевна Римская-Корсакова прочла стихи «Журавли», летевшие и погибшие в пути. И это тоже произвело большое впечатление.

В конце недели появился военный, объявивший нам, что мы можем написать по одной открытке родным с просьбой передать нам тёплую одежду. Открытки разрешалось приобрести в тюремном ларьке. И пора! Шел конец октября, и становилось холодно даже в помещении, густо заполненном людьми. Но кое-кто догадался, что это может быть мерой обеспечения нас одеждой перед этапом. Это было ужасно, покидать дорогой наш Ленинград. Ленинград – это такой город, который заставляет себя любить очень большой любовью! Недаром говорят, что у ленинградцев заметна общая особая манера поведения. Город этот отличается обилием прекрасных, величественных зданий, своими революционными традициями, очень большим количеством крупных заводов и фабрик, а с ними и обилием кадровых рабочих. Этот город воспитал людей мужественных, несколько серьезных, сдержанных и целеустремленных. А еще в Ленинграде развита вежливость и хороший литературный язык. Ленинградцы любят свой город и справедливо им гордятся. Много талантливых людей можно встретить здесь сейчас, и многие прославили его в прошлом. Как не любить наши прекрасные белые ночи, нашу величавую красавицу Неву? Даже климат

Ленинграда, сырой и серый, люди научились любить.

Вот поэтому можно понять, как тяжело было нам расставаться не только с семьей, но даже с самим городом, где мы жили, и где каждая по-своему была, вероятно, счастлива. Казалось, у нас отнимали сразу всё.

Кое у кого из наших были с собой небольшие деньги. Маленькие суммы при обысках не отбирались, и на них стали разрешать покупать кое-что в тюремном ларьке. Делалось это так: конвоир выпускал одну или двоих и сопровождал их до ларька, разумеется, в стенах тюрьмы. Эти двое должны были купить и принести для всех, кто дал деньги и что-либо заказал. Таким образом, были куплены и открытки, приобретался сахар, булки, колбаса. Но мало у кого были деньги. В счастливой компании, где что-то куплено, закусывали большей частью сообща. Некоторые были «одиночки», не дружившие ни с кем.

А слух об этапе всё полз и полз. В этом уже появилась уверенность. По простой логике вещей не могли нас держать 5 лет в уже переполненной тюрьме. Сопоставили слово «Нарым» в нашем приговоре, и стало ясно, что этап будет, и при этом очень дальний, в холодные края,

Матери, еще не имевшие сведений о том, где их дети, стали при каждом случае, когда к нам заходило начальство, просить поскорее сообщить о детях. Нам обещали, некоторым уже было сообщено. Большая часть детей попала в детдома, и сообщался их адрес. Или сообщали фамилию родственников, забравших детей к себе. Я не спрашивала, так как знала, что Митюша попадёт к моей маме. Мама очень любила его. Даже удивительно. Помню, через 2 недели после его рождения моя мама, жившая в Новгороде, взяла отпуск на 3 дня и приехала к нам. В день её отъезда обратно в Новгород я вернулась из магазина и застала маму всю в слезах, а на руках у нее наш крошка.

– О чём ты, мамочка? Что случилось?

– Мне жалко его оставлять очень, такого еще ничего не понимающего крошечку!

После этого годовалый Митюша жил у мамы 7 месяцев и она страшно к нему привязалась. Ему и теперь будет у мамы хорошо, я знала. Но бедная мама, ведь я была ее единственной дочерью, других детей у нее не было. Сколько ей пришлось плакать обо мне, наверное.

Но довольно. Разве у меня одной? Каждая оставила в горе многих родных. Полагались нам прогулки. Это в тюремном дворе ходили мы минут 15 гуськом под наблюдением конвоиров и разговоры были запрещены. А где-то в других камерах помещались остальные наши «жены», не попавшие с нами перед приговором. Нам из окна было видно, когда они гуляли. Смотрим, они руками на груди показывают 5 или 8 пальцев, когда шли спиной к конвою. Мы все-все прильнули к окнам, за что наша камера была лишена прогулки. Но мы уже поняли, что их сроки приговоров 5 или 8 лет, как и наши.

А дни шли. Уже тогда, спустя два месяца жизни в тюрьме, намечались качества наших жен, заставившие впоследствии меня вспоминать о большинстве с большим уважением. Какая-то моральная порядочность

подавляющего большинства. Горе не сломило людей, не ожесточило. Много было заботы друг о друге. В разговорах, в вечных поисках причин нашего несчастья признавали это результатом чьих-то ошибок, а то и карьеризма, но вера в нашу страну, в коммунизм как её великую цель, никаким сомнениям не подлежала.

Судьба наша была однородна с судьбой наших мужей и невольно этим поддерживалась уверенность, что они не виноваты, как и мы. И это облегчало наше состояние.

А дни всё-таки шли. Начали поступать к нам передачи от родных: то ту, то другую вызывали подойти за передачей. Это было ответом на наши открытки. Вызванная за передачей всегда остро волновалась и, приняв от конвоира развязанные и перемешанные вещи (результат осмотра, обязательного по инструкции), возвращалась на свое место и там судорожно плакала, расстроенная видом «вольных» вещей и заботой родных.

В самом деле, как тяжело всякое реальное напоминание о твоей совсем недавней жизни, где была свобода передвижения, была с тобой твоя семья, и было к тебе законное уважение, а здесь – презрение...

Мне тоже принесли передачу: пальто, одежду и продукты, – значит, открытка дошла. Не у всех так было, довольно многие не получили ничего, и можно было гадать, то ли открытка затерялась, то ли родные боятся обнаружить связь с арестованной политической... Значит, пришла сюда ко мне моя двоюродная сестра, я ей писала. Искала, наверное, эту тюрьму, – вот, я уроженка Ленинграда, а не знала, что есть такая Арсенальная тюрьма, как мы ее здесь называли. Так и она, наверное, искала по адресу по открытке, не побоялась. Спасибо тебе, моя хорошая!

В тюрьму присылали и деньги, но разрешалось их получать не более 25 рублей на руки. Это был лимит.

За два месяца нашей тюремной жизни более всех я сдружилась с Полиной. По натуре она была очень сердечна, и в отношении ко мне я чувствовала безусловное, безоговорочное желание мне добра, лишённое всякого эгоизма. Помню такой эпизод. Для меня он был труден и потому не забылся. Дело близилось явно к этапу. Полина заметила, что денег мне не присылали, – я просто не просила их. И вот из своих 25 рублей десять она потихоньку от других отдаёт мне. Я никак не хотела их брать, вполне могла обойтись без них, – ведь у многих не было денег. Но не такова была Полина. Она сумела так трогательно уговорить, так обижалась отказом, что я была вынуждена их взять.

Вообще, вся наша компания относилась ко мне как-то с заботой, даже покровительственно, потому ли, что я была младшей, или в силу моего несколько неосторожного характера, всё могло быть. Ведь осторожность в тюремных условиях нужна.

И вот через 10-15 дней после приговора впервые было произнесено начальством слово «этап». Были вызваны с вещами на этап по фамилиям те, кому по приговору полагалась ссылка. Им уже никто не шептал адресов, все были встревожены их дальнейшей судьбой. Что-то их ждёт теперь? Куда? В какие попадут условия? Их проводили словами последних советов и

напутствий. Дверь захлопнулась за ними. В камере стало тихо.

Перед этим днем снова был дан ларёк. Люди брали, ожидая этапа такие продукты, которые можно сберечь на более долгий срок: сахар, шоколад, сало, копченую колбасу. Впрочем, не у всех это получалось, потому что любой из этих продуктов для нас был и редкость и лакомство. Наша Тося и говорит Клаве: «На чёрный день! А разве у нас этот день не чёрный!?» – «Чёрный», – ответила Клава. И обе принялись за еду.

В самом конце октября объявили собираться «с вещами» на этап всем остальным сразу. Было 5 часов дня, но в Ленинграде темнеет рано. В камере сразу поднялись шум и суматоха. Собираясь, я не забыла придуманное заранее: с помощью «прикрывавших» меня друзей я карандашом написала повыше в тёмном углу на стене текст нашей песни и указала, на какой мотив – для тех, кто будет здесь после нас. Конечно, здесь осматривают и обыскивают камеру после ушедших отсюда з/к, но хотелось попытаться счастья. И ведь удалось! Даже удивительно! Впоследствии следом за нами пришел еще этап из Ленинграда, и они знали и пели нашу «Арсеналку». То были тоже жены, такие же, как и мы...

Снова лязгнула дверь, и нас вывели, но не на воздух, а опять в какое-то помещение, совсем пустое и обширное. Там не было даже нар, и мы расселись на полу и на своих вещах (смотря у кого их сколько было), так как шла долгая процедура оформления наших «дел», т.е. ходило начальство в военной форме с папками, много раз нас перекликали и проверяли, и мы заметили, что дела были сложены в алфавитном порядке,

Неподалеку от меня горько плакала одна из наших жен. Я подошла к ней. Это была Варя Ежовер, очень красивая, солидная фигурой, несмотря на свою крайнюю молодость. У нее были мягкие светлые волосы и нежное лицо со слабым румянцем. И вообще, она была изнеженным созданием. Вероятно, потому она так безутешно плакала, почуввав окончательно, что приходится прощаться с Ленинградом и всей своей жизнью до этих пор. Приблизительно так она сумела мне ответить. Но было еще грозное обстоятельство, на которое она пока мало обращала внимания. Ей, видимо, не сделали передачу, потому что с ней совсем не было вещей, а платье на ней было розовое летнее с короткими рукавами, на ногах лодочки и шелковые чулки. И это к началу зимы и с приговором «Нарым». Кое-чем мы помогли ей из вещей, но это было ничтожно против грядущих морозов. Запасов ведь не было и у нас.

Нескольким женщинам все-таки выдали здесь казенные бушлаты, тоже совсем не одетым. Но Варя презрительно отказалась надеть «неуклюжую» одежду. Она еще сознавала себя красавицей.

В помещении был полумрак. Собственно, яркого света мы и впоследствии никогда не встречали. Все процедуры проверок проходили в сумеречных, слабо освещенных помещениях, не говоря уже о камерах. Окна тоже всегда были маленькие, где-то высоко.

Наконец, поздно вечером нас вывели в тюремный двор, опять перекликая и проверяя каждую по «делу». Посадили в обыкновенные автобусы, что показалось особенно грустным и странным. Разумеется, с

«проводимыми», в алфавитном порядке, – т.е., без моих друзей. И мы, таким образом, покидали нашу первую тюрьму. Что впереди? Что ждет еще и еще? Увы! Мы уже чувствовали, что твердо ожидаемое освобождение когда «разберутся», во всяком случае, требует уже времени хотя бы на обратную дорогу.

## Глава 6. Этап.

Наконец, наши автобусы двинулись. Жадно мы смотрели в последний раз на улицы вечернего Ленинграда. Тогда еще по Литейному ходили трамваи, бодро позванивая и характерно слегка постукивая на стыках. На остановках толпилось много ожидающих транспорта свободах (нормальных) людей и, если нас задерживали светофоры, они подходили садиться к нам, пока не замечали шинели и винтовки конвоя за стеклами и не открывающиеся для них двери.

Так много невероятного произошло с момента ареста, в сущности всего за неполных 2 месяца, что мы мысленно прощались с нашим городом, все-таки вполне могло быть так, что и надолго. Это короткое время в пути в автобусе было каким-то особым глубоким аккордом в наших душах.

Доставили нас куда-то на запасные пути Октябрьской железной дороги. Было здесь совсем темно. Вскоре двери открылись, и по команде «Выходи!» мы заторопились спускаться на железнодорожные линии, всюду здесь проходившие. Оказались мы перед товарным составом в густом окружении конвоиров в полушубках и ушанках и со множеством овчарок при них. Собаки лаяли, натягивая поводки. Конвоиры с ними образовали широкий полукруг, замыкая для нас пространство с боков и сзади, впереди же были вагоны. Здесь уже стояли наши жены из передних, видимо, автобусов. Некоторое время мы, ожидая отставшие еще машины, стояли потрясенные, и вглядывались в темноту, достаточно освещенную электричеством, но глаза не сразу различали предметы. Эта обстановка усиленного конвоя на железнодорожной линии была, вероятно, обычной при отправке заключенных, как можно понять теперь. Но для нас все было ново и неожиданно, а, главное, потрясло символом власти перед лицом опасных, способных на побег людей. Но мы-то, мы! Для нас абсолютно довольно простого слова – и мы выполняли беспрекословно. Мы и побег – это нечто такое несовместимое, что все предосторожности конвоя были трагичны своей нелепостью. Из пушек по воробьям! А всего более мы походили на овец. Не очень это лестно для нас, но с тех пор много раз приходила мне на ум именно такая характеристика наших жен перед лицом тюремного режима. И не потому мы походили на овец, что были тупы. Мы были женщинами перед лицом вооруженных мужчин, распоряжающимися нами окриками и бранью. В нас жила вера в партию и любовь к своей стране, грубость же конвоя мы встречали с молчаливым достоинством, очень присущим нам в те времена, или просто слезами, если превышало силы то, что от нас требовали. Но зато дисциплинированность была нам более всего присуща, и это делало нелепым всякие меры предосторожности против нас.

Но опять слова команды и окрики, пуще заливаются овчарки, – это

началась посадка в вагоны. Откатываются тяжелые двери теплушек, с двух сторон перед нами военные опять с пачками наших «дел» в руках. Нас выкликают опять же по алфавиту, и я попадаю с буквами Л, М, Н. Снова это означает разлуку с моими друзьями, с которыми я за эти 50 дней сроднилась, и теперь беспокоюсь за свою участь. Но вот уже в вагоне надо найти свое место. Пока было просторно, и я уселась на верхних нарах почти у самого окошка. Там было посветлее, но и похолоднее. Вагон был обыкновенной теплушкой, свободной перед дверями, а справа и слева были дощатые нары в два этажа, так что и сидеть на них приходилось, слегка согнувшись, стоять же можно было лишь между дверями, и, когда набили нас в вагон достаточное количество, человек 60, для проверок все вставать одновременно не могли.

Этапные впечатления почему-то особенно врезались в память. Не обошлось без курьезов: одна из наших, еще довольно полная женщина лет сорока (её звали Наташей), беспокоилась, чтобы не испортились продукты недавно полученной передачи. Она положила свой узелок на сквозную дыру в полу для некоторой прохлады, так как в не отапливаемой теплушке быстро стало душно и жарко от большого количества людей. В теплушке не было света, когда захлопнули нашу дверь, оказалось совсем темно. Еще постояв некоторое время, поезд наш лязгнул и тронулся, увозя пассажиров прочь от Ленинграда. Все молчали. Никто не спал. Но и говорить было незачем.

А наутро встало солнце, и через четыре малых окошка сверху вагона, забранных двумя полосками толстого железа вместо решеток, осветило наш вагон, и мы тогда огляделись. В вагоне ничего не было, кроме большой деревянной кадки с водой для питья, прикрытой кружкой. И тут только выяснилось, что дырка в полу имеет назначение туалета, так как в пути нас не выпускали ни на шаг из вагона, а ехали мы две недели. Очень смущенная Маша поспешила забрать свой узелок с продуктами.

Поезд остановился где-то среди пути, где не было жилья. Двери вагонов стали с шумом открывать, в вагон вскочили два конвоира и опять проверяли нас по спискам и путем пересчета. Принесли и раздали нам хлеб и по куску вяленой рыбы. Пить сказали из кадки, для мытья воду не обещали, велели её экономить. Раз в день нам приносили рыбный суп, который почему-то назывался кондёр. На просьбу о свечке ответили отказом.

Так потянулись дни неопределенной по продолжительности поездки. Время от времени люди спускались на пол и разминали ходьбой уставшие члены. Разговаривали мало, удрученные всем происходящим. Впрочем, по прошествии недели, наша скованность стала ослабевать, и появились кое-какие разговоры, главным образом, воспоминания о детях, мужьях, о минувшей обычной жизни.

Я часто смотрела в окно. Вот когда обнаружились преимущества моего места! Духота была большая, а в окно веял постоянно ветерок. Кроме того, была видна «воля», как мы уже называли жизнь не за решетками. Большей частью это были поля, кусты, иногда лес, изредка люди, свободные, ничего даже не знающие о нас. И было понятно, что и впредь о нас очень мало кто будет знать, одни наши начальники...

А когда наш поезд поворачивал вправо, видна была дуга из наших вагонов и на площадках их - часовые с винтовками. Солнце золотило теплушки и сверкало урывками на металлических частях оружия. «Всюду жизнь», – припоминается картина Н. Ярошенко. Именно – всюду жизнь. И солнце способно её освещать и скрашивать даже для нас. Этой осенью было много солнечных дней. Но бывал и дождь, унылый и серый. Становилось много темнее и те, кто был близко от окон, начинали кашлять и жаться в сторону.

Я опять мысленно сочиняла стихи о нашем этапе. Они вышли лучше предыдущих, как мне показалось:

Этап  
По железной дороге к востоку  
Длинный поезд товарный идет  
Он не связан прибытием к сроку,  
Может ехать и месяц, и год.  
Он привык к остановкам случайным,  
А позволят – и быстро бежит.  
Под осеннего солнца лучами  
У него даже радостный вид.  
Загорожены крошки-оконца:  
Пара прутьев сковала окно,  
Но лучи справедливого солнца  
Освещают вагон все равно,  
На площадках стоят часовые,  
Их штыки издалека блестят,  
А вокруг перелески густые,  
Да поля убегают назад,  
И так странно, что эта картина  
Означает неволю, этап,  
Что не радость, а злая чужбина  
Впереди ожидает состав.  
Ведь наполнены эти вагоны  
Не врагами Советской страны!  
В них ни в чём не повинные жены  
Как преступники ехать должны!

Впрочем, сочиняла я тогда и частушки:

Удивили все семью,  
Даже мать родную:  
Предъявили мне статью  
Пятьдесят восьмую.  
Для продуктов ночью темной  
Ищет Маша холодок  
И на дырку для уборной  
Положила узелок.



Так молодость брала свое и шутила и замечала смешное. Уже в этапе мы стали скрашивать вынужденное безделье рассказами и, особенно, стихами. Многие знали немало стихотворений различных авторов, в зависимости от вкуса. Стали читать их друг другу, а что понравится, заучивали со слов. Были и попытки пошутить с конвоирами, когда получали от них обед или воду. Но почему-то я относилась к этому отрицательно: ведь обычно они так грубо и сердито с нами обращались! Но я была неправа: среди них были люди разные... А стихотворений я тоже знала много и читала их соседям.

Что на днях я в косыночке газовой  
Самолетом в Нарым полечу.

Мы смеялись над ее импровизацией. Откуда-то просочились к нам настоящие песни уголовников, они поражали особым ритмом и веселым напевом. Чувствовалось по этим песням, что их складывали люди, как-то принципиально желавшие заявить о своей особенности. И еще в них обычно есть тема обиды на мир. Но разве не наоборот, не они обижают мир?

Вошел военный и сказал, что на следующий день нам назначена стирка. Для этого следует выделить 6 человек и собрать белье со всей камеры. Удивительное дело, оказалось немало желающих, так что назначать не пришлось, согласились сами идти. Мы собрали им белье, и на другой день с утра их вывели с бельем, а к вечеру они вернулись с уже выстиранным и просушенным в сушильных камерах бельем.

Мы встретили их торжественно, постарались угостить и прочли им мои благодарственные стихи, сочиненные для них. Они назывались «Нашим славным прачкам!» Стирка эта нашими силами была первым случаем труда и выхода, хоть ненадолго, за пределы камеры, поэтому казалась событием. Затем началась раздача выстиранных вещей, это тоже было забавно: поднимали каждую вещь как фант в игре и спрашивали: «Чья это вещь?» Хозяйка откликалась и получала свое имущество.

А на другой день объявили, что поведут нас в баню. Баня была недалеко, в одном из зданий тюрьмы. Впервые нас сдали конвоиры под надзор женщины. Это была некая Тельманова (откуда опять узнали? Ведь не говорят нам никаких фамилий). Женщина лет под пятьдесят, некрасивая и грубоватая, в черном платье и с револьвером на боку. И вся она была какая-то мрачная, черная, абсолютно неразговорчивая. Она следила, чтобы каждая получила один таз нагретой воды, но не более. С тех пор всегда в баню сопровождала нас она, и мы ее звали между собой Тельманша. Трудно было тем, у кого были хорошие косы, обходиться одним тазом воды, но как-то приспособились. Вообще, человек может ко многому приспособиться и ничего, выживает. Особенно удивительно было с питанием: желудочные больные, жившие дома на диете и на белом мясе, здесь ели черный хлеб, кашу, щи и это проходило без особых последствий.

Тельманша, повторяю, была единственной женщиной в числе наших конвоиров, но она была неприступна как скала и ни лишнего слова, ни одолжения от нее ждать было нельзя.

## Глава 7. Томск.

Высадили нас в Томске после двух недель пути. Запомнились особые строгости конвоя: предупредили, что в пути под конвоем шаг в сторону расценивается как побег, будут стрелять без предупреждения. Это вполне обычное правило в таких случаях, но мы его услышали впервые. Молча, плотными рядами шагали мы по незнакомому городу к тюрьме. Остановились у ворот. Начался пересчёт прибывшего этапа, после чего нас пустили во двор и развели по камерам. Камеры здесь были меньше, чем в Ленинграде, но как-то солиднее, прочнее оборудованы. К тому же дом этот был деревянный, чувствовался избыток леса в этих краях. Откуда-то прошел уже слух, что томская тюрьма отличается величиной и строгостью режима. Она обнесена глухой кирпичной стеной и ее основные корпуса тоже кирпичные. Просто нам достался деревянный.

Недели две мы пробыли в этих камерах. Некоторые побойчее и более знакомые с жизнью, задавали вопросы, когда к нам входил кто-то из настоящего тюремного начальства. Вопросы были в основном опять о детях, так как далеко не все имели о них сведения. Но задавался и такой вопрос: почему нас держат в тюрьме, если мы приговорены к лагерям?

На это нам сказали, что в Нарым, куда мы должны были попасть по приговору, уже нет из-за снегов никаких дорог, кроме воздушной трассы. Если мы дадим подписку о том, что согласны лететь туда самолетом, то нас доставят туда. Там ожидала нас работа: по словам начальства – плетение кружев и производство игрушек.

Стало понятно, что тюремное начальство не берет на себя решение отправлять столь плохо одетых людей. Нам пообещали, что смогут дать несколько пар валенок, а большинству – лапти. Если мы согласны так лететь, мы должны дать ответ на другой день.

В предосторожности нашего начальстве мы почуяли опасность; в самом деле, морозы возможны и в 50°, а у нас ведь не только нет теплой обуви, но и одежды также. Дать такую подписку было уж очень неразумно, и мы отклонили это предложение.

По этому поводу одна из наших жен, Ксана Митрофанова, моя тетка по имени, сочинила пародию на модную тогда песенку «Косыночка газовая»:

Ты смотри, никому не рассказывай,  
Что я пару лаптей получу.

Впрочем, некоторую предприимчивость проявляли мы сами. Разобщенные с друзьями в силу алфавитной системы, погрузки в вагоны и размещения в этих камерах в Томске, мы очень скучали друг без друга и беспокоились о друзьях. Помню, мне лично удавалось получать записки от Полины и, в свою очередь, писать к ним ответы. Откуда брали мы бумагу и карандаши, уже не помню.

Были у нас и иголки. А нитки брались при роспуске трикотажных

изделий, особенно чулок. Ожидая нового этапа, мы стали перешивать, как могли, свои вещи, фабрикуя из них шапки, шарфы и т.п. У меня не было теплой шапки, и я сшила ее себе из черной шерстяной юбки, на вате. А вата бралась из одеял.

В камере же было жарко: здесь топили, было большое количество народа, так что на верхних нарах было весьма жарко. Ну, мы снимали платья, оставались в белье, в трусах. Зато когда заглядывал коридорный солдат, его смущал, видимо, и злил наш вид, и он требовал, чтобы мы были одеты. Дитя Сибири! В Европе совсем не потребовали бы...

Помню, писала я об этом Вале Ежовер, тоже бывшей в другой камере:

Здравствуй, Вавочка, как поживаешь?  
Я живу на втором этаже  
И у нас тут жарница такая,  
Что сидим целый день неглиже.

Возмутили мы даже начальство:  
«До поверки одеж не снимать!»  
Удивляет их наше нахальство  
В пляжном виде на нарах лежать.

Шьем себе рукавицы и шапки  
И над каждой смеемся до слез:  
Будет жутко, когда эти тряпки  
Мы наденем в дорогу всерьез.

Да, бывали и шутки над самими собою. Но чаще, много чаще, мы сталкивались с горем. Как-то моя соседка в этой камере, маленькая, спокойная, безалаберная Лия Гегель-Мельникова рассказала мне о себе. Я была поражена ее рассказом. Когда пришли ее арестовать в Ленинграде, у нее не было никого, кроме ребенка, она оставила его во дворе, дав ему там завтрак. Отец Лии в царское время был революционером-подпольщиком. Он был приговорен тогда на поселение в Сибирь. Отца сопровождала в Сибирь беременная жена. Когда наступило время родов, мать Лии и отца оставили в томской тюрьме, а остальные люди их этапа последовали дальше к месту их назначения. Лия родилась в этой самой томской тюрьме. Когда мать окрепла после родов, эту семью отправили также к месту первоначального назначения. Это было 32 года тому назад.

На стене в коридоре наши заметили надпись, пропущенную бдительным начальством (с надписями боролись, и после каждой группы, побывавшей в помещении, осматривали стены): «Кто здесь не был, тот побудет, а кто был, тот не забудет!» Впоследствии такую надпись нам случалось видеть и в лагерях. Видно, популярная... И опять она говорит о горечи неоправданной, ибо ее создали так называемые уголовники, чаще всего, сознательные правонарушители. Но не любят люди обижаться на себя. Легче – обижаться на жизнь. А я вот люблю фразу Горького: «Человек, помоги себе сам!», и

думаю, что это самый верный, оправданный подход человека к вопросам своей жизни, своего становления как личности. Не ищи подпорок, не считай кого-то виновным в твоей судьбе. Необходимо прежде всего и раньше всего спрашивать с самого себя, отнюдь не с других. Что посеешь, то и пожнешь. Надо поражаться истине, насколько велико участие (или вина человека) в своей судьбе. И нечего раздумывать, кто тебя добил. Ищи немедленно пути выбиться на верный путь. Это для всякой тяжелой ситуации...

Разумеется, в жизни имеют место стихийные бедствия, когда от человека зависят слишком мало. Подобны им политические бури. Из этой области и наша судьба, наше заключение. Но человек должен всегда быть человеком с большой буквы. Впереди он должен видеть свой долг и свои возможности для деятельности. Всякое приспособленчество за счет других – подлость. И лучшее в заключенных женах (считаю, что их было значительное большинство) обрисовывалось так:

1. Вера в мужа воплощалась в стойкий отказ на допросах признать его вину.

2. Вера в жизнь и в коммунизм диктовала надежду на то, что разберутся, когда-либо обязательно мы будем реабилитированы.

3. Честно прожитая до ареста жизнь сформировала из нас отменных работниц и в лагерях, дисциплинированных и дававших неслыханные в лагерной жизни нормы выработки. Но в этом я забегаю вперед.

## **Глава 8. Лагерь жен.**

В приговоре значилось, что мы должны содержаться в лагере, нас же до сих пор содержали в тюрьме. Около месяца, до декабря 1937 г. мы провели в томской тюрьме, и при обходах прокурорского надзора наиболее осведомленные в юриспруденции жены стали задавать вопрос: «Почему нас держат на более строгом режиме, чем это установлено приговором?» Нам отвечали, что это временно.

И вот однажды нас вызвали «с вещами» и перевели в особую часть томской тюрьмы, только что приспособленную под лагерь. Очень высокий, в 4-5 метров забор из новых белых досок, а сзади бараков – толстенная кирпичная стена, тоже высокая, окружали четыре барака (или корпуса, как их называли впоследствии), расположенных в одну линию, оставляя перед ними пространство в несколько метров для прогулки. Поначалу нас ввели точно в такие же камеры, как это было до сих пор, и заперли по всем правилам тюремного искусства. Но было и огромное преимущество: мы встретились перед корпусом со всеми остальными товарищами нашего этапа, с которыми нас разлучил отбор людей по алфавиту. Здесь же мы смогли соединиться ранее сложившимися группами на основе чисто душевных симпатий. Нас заперли просто по «количеству штук» на камеру и я соединилась с прежней компанией. Не всем это удалось! Это была для нас первая большая радость с момента ареста: потерю друзей мы чувствовали остро, потому что уже привыкли жить их интересами и беспокоились,

скучали. Особенно первый вечер был наполнен разговорами и рассказами о том, что происходило во время пребывания в разных загонах и камерах. Мы буквально не замечали ничего вокруг и были заняты радостью общей жизни снова. Улеглись спать счастливые. О, дети! Как много детского встречается у людей взрослых.

На другой день мы осмотрелись: камера была сравнительно небольшая, нас было 60 человек. Осмотреться было нетрудно, так как мы находились на верхних нарах. Люда постарше предпочитали помещаться на «первом этаже», то есть на нижних нарах.

Появилось начальство: оказалось, что с нас снимали тюремный режим, то есть со всех окон сняли щиты и открыли камеры. Мы могли общаться друг с другом и быть на улице столько, сколько мы хотим. Разумеется, это разрешалось в пределах забора, и даже до забора была так называемая «запретная зона», так что метра на три-четыре нельзя было приближаться к забору. Но все-таки это было нам большое облегчение.

Когда открывали камеры, то присутствовало начальство из ГУЛАГа. Они с улыбкой смотрели, как мы быстро устремлялись в коридор и бросались в объятия друг другу, некоторые плакали.

Каждая хоть ненадолго выходила на воздух, шурясь от сибирского солнца и снежной белизны. Впрочем, вопрос прогулок был пока труден: мало у кого была тёплая одежда.

Начальство, да еще такое солидное, не часто бывает у нас. Между прочим, они даже сообщили нам, что отныне начальником нашего спецлагеря будет гражданин Гнедик, сопроводивший группу наших посетителей. На наш вопрос, как мы можем подавать заявления об освобождении и о всём том, что нас волновало, нам ответили, что это не пойдёт дальше комендатуры, и что мы можем писать только о помиловании. От этой мысли наши отказались. За что помилование-то? В каких преступлениях? Думала так каждая.

Кто-то задал вопрос начальнику нашего лагеря, что же означают полученные нами сроки и на что можно надеяться? Он резко отчеканил:

- Пять, это пять и восемь, это восемь!
- Так кому же давали пять и кому восемь? Почему такая разница?
- Это потому, что были жены и были женушки.

Такая фривольная шутка в устах нашего начальника коробила слух. Начальство вскоре покинуло лагерь. Затем появились другие новости: объявили, что будет самообслуживание. По каждому бараку-корпусу (их ведь было четыре) была назначена так называемая корпусная из числа жен, ответственная за порядок по корпусу. У нас это была некая Фокина Екатерина. В каждой же камере была назначена староста. Были еще выделены желающие работать на кухне, хлеборезке, в медпункте (их вскоре переселили в отдельную камеру «работающих»), но тоже в порядке самообслуживания. Назначили поочередные дежурства для ежедневной уборки камеры. Так была твердо организована жизнь нашего лагеря.

Откуда взялась наша корпусная? Кто ее назначил? Это была на редкость

подходящая кандидатура: энергичная и очень строгая, она отлично соблюдала интересы начальства. Мы ее слушались, а впоследствии и боялись. У нее была обязанность писать рапорт на провинившихся. И Фокина этим не брезговала.

Обходя камеры, она сообщила нам кратко лагерные правила и объявила, что есть такое распоряжение нам всем вставать, когда входит обслуживающий персонал лагеря. А так-как всем в узком проходе не поместиться, то люди на верхних нарах должны придвинуться к краю нар и встать на колени. И она вышла.

Нас это шибко задело. Мы умели подчиняться, но «на колени»! И еще в устах нашей же из жен! С этим большинство примириться не могло. Решили хоть как-нибудь, да втискиваться среди стоящих на полу. Фокину с тех пор мы хорошо поняли.

Вскоре объявили, что для побелки помещения надо выделить желающих. Желающие на всякую работу находилась, потому что, во-первых, требовалась незначительная часть находящихся в камере, и нездоровые или несмелые могли не идти. Во-вторых, работа была некоторой разрядкой для застоявшихся членов, помогала скоротать время и чуть шире увидеть жизнь. А работа на кухне, куда нередко вызывали помочь, означала еще некоторую сытость. В число побельщиц записалась и Полина. Я не умела белить и потому не пошла. Но вскоре стало известно, что известь у многих переедает руки, и мы стали беспокоиться о Полине, а мне даже было неприятно, что я не пошла, все-таки могла бы помочь. Поэтому, когда стали вызывать мыть полы после побелки, я сразу пошла. Видела, что руки у нашей хлопотливой Полинки сильно поедены извёсткой. Впрочем, у тех, кто мыл пол, руки разъедало еще больше, и, доведя уборку до конца, я вернулась с еще худшими руками, чем у Полины, и утром мне помогали одеться мои друзья. Разумеется, это прошло потом само собой, без лечения, но нескоро.

Побелка эта была хорошим мероприятием, так как помогала поддерживать чистоту. Борьба за чистоту стоила нам немалых забот, потому что жили мы очень скученно, воды по-прежнему давали очень мало, а мыла вскоре вовсе не стало. И, несмотря на это, наши жены умудрялись еженедельно менять белье, содержать в чистоте волосы. Зато вода и умывание у нас было впоследствии самым серьезным вопросом, и чаще всего мы получали взыскания именно за умывание и стирку сверх положенного времени.

В один из дней в нашу камеру вошла женщина, чуть выше среднего роста, блондинка с очень приятным лицом и улыбкой. Окинув нас взглядом, она спросила:

- Товарищи, скажите, кто в чём нуждается, – И записала в тетрабочку кому что надо (одежду или справки о детях, например),
- Какие вы неактивные, так нельзя.

Это была Людмила Кузьминична Шапошникова, получившая срок за мужа Чудова, известного правительственного деятеля, а сама она работала директором одного из ленинградских предприятий. Впоследствии эта милая

и мужественная женщина вдумчиво старалась облегчить наше общее положение. Увы, дело кончилось ее изоляцией.

Сколько нас было, мы точно не знали, спецлагерь наш день ото дня пополнялся новыми этапами точно таких же жен с теми же сроками, прибывавшими из Москвы, Киева, еще из Ленинграда... Однажды с последним этапом прибыла женщина лет 55 и села на краю нар с горестным видом. Звали ее Бася Львовна. Тосе стало жаль ее, и она спустилась с верхних нар и под села к этой симпатичной женщине. Нашей Тосе было 34 года, она была еще оптимист и сердечно стремилась напитать, своим оптимизмом вновь приехавшую. Но та была стара и мудра. Она оценила желание Тоси ее поддержать, но грустно и ласкова ответила ей:

– Деточка, вы принимаете, навоз за розы. Нас не затем брали, чтобы отпускать. Я старый член партии, мой муж тоже, дети у нас комсомольцы, и мы с мужем сидим в тюрьме.

Между тем шел конец декабря, подходил новый 1938 год и с ним грусть, как во всякие праздники. Праздники для заключенных всегда особенно тяжелы, больше думается о потерянном доме, больше проявляет ненужную бдительность начальство, особенно тщательно делаются обыски, поверки. Впоследствии, на уже обычном лагерном режиме (а здесь был спец/лагерь), где разрешалось свободное хождение по лагерю, на все праздники нас обязательно запирали, но только нас, политических. Бытовики могли гулять как обычно, и это всегда было неизменно обидно. Мы по-прежнему не были ничем опасны.

Но за четыре-пять дней до этого Нового Года нам вдруг предложили через корпусную отметить Новый Год концертом своими силами. Среди нас нашлись профессиональные артистки, чтецы, были люди с хорошими голосами. Мне поручили написать что-либо, подходящее к случаю в форме частушек. В ту пору мы могли днем уже свободно ходить по корпусу в умывальную или из камеры в камеру, и только на ночь нас запирали по камерам. Кое-кто воспользовался этим разрешением и организовал физкультурные упражнения. Это были наши общественницы по натуре, их начинание было очень полезным для нас. Таким образом, и «концертная бригада» могла ходить из камеры в камеру, повторяя свои номера. Все заинтересовались и ждали вечера. Была уже вторая половина дня кануна Нового Года. Вдруг в нашей камере открывается дверь, входит корпусная и просит старосту (кроме корпусной, в каждой камере была назначена староста, тоже из нашего числа жен) выделить человека четыре на кухню для чистки картошки. Обычно приятное поручение на этот раз никого не обрадовало, а, наоборот, назначенные очень огорчились, что не услышат концерта. Их утешали, обещая задержать концерт. Но кто знал, как поздно они вернутся? Впрочем, они вернулись до начала концерта и сразу были удивлены переменой: на нарах сидели нарядные (сравнительно) женщины, – их просто было не узнать. Было надето на себя всё лучшее, что было в чемоданах, но, увы, весьма помятое, и нарядные товарищи имели жалкий вид. Поэтому ли, или по причине не остывшего огорчения, но чистильщицы

картошки переодеваться не захотели, и остались в прежнем виде.

А праздник начался. Где-то достали тарелку и огарок свечи, было много смеха, если свеча для гадавшей останавливалась у остроумной надписи. Если же останавливалась у записки «домой», то не взирая на то, что никто не относился к этому серьезно, лица прояснялись. А с нар шутили: «Может быть, и дата известна?» Вскоре появилась у нас в камере и концертная бригада; некоторые наши были очень хороши. Заглядывала к нам и улыбающаяся корпусная во время этих номеров. Всё как-будто было нормально. Сами мы в ту пору так мало знали что нам можно, чего нельзя. Были голоса вначале против концерта, как странного веселья в нашем угнетенном положении. Впрочем, это были пессимистки, они были в меньшинстве. К семи часам вечера всё уже было окончено. Нас заперли по камерам как всегда.

## **Глава 9. Новый 1938 год. Карцер.**

Воспоминания бегут... Интересно ли все это читателю? Но моя цель описать минувшее и я должна продолжать. На другой день, когда было уже светло, в камеру вошла Фокина с приказом в руках и зачитала фамилии тех, кого отправляют в карцер на 15 суток за участие в концертах к Новому Году и за организацию физкультурных упражнений, и добавила, что в приказе нет Земсковой, которая также идет в карцер, но дело ее будет выделено особо. Мы поняли это, как факт подсадки к нам в карцер соглядатая.

В числе наказанных была и я. Подошла ко мне Наталья Борисовна Родионова, относившаяся ко мне хорошо, и я тихо спросила ее: признаваться ли в авторстве стихов? Она посоветовала, что лучше признаться. Впрочем, никто нас ни о чём не спрашивал, а просто посадили, признаваться не пришлось. Но, странное дело, после моего возврата из карцера Родионова перестала со мною общаться. Она была умна и осторожна, имела высшее образование.

Большинство же, почти все, жалели попавших в беду товарищей, и для них тянулся очень долго этот срок нашего наказания. А мы... мы были ошеломлены. Нас вывели, а камеры заперли. Это подчеркнуло важность происходящего. Днем ведь не запирали обычно дверей.

В коридоре собрали нас всех, оказалось нас 13 человек. Повели нас сразу за ворота, прямо в карцер, без каких-либо разговоров. Было уже светло. Несомненно, товарищи наши из окон видели, как конвой вел нас через двор по свежему снегу за ворота; снег здесь шел часто. Места холодные, морозные. Но было почему-то мучительно стыдно идти под взглядом товарищей. Я шла, не оглядываясь.

Привели нас в каменный корпус, где в коридоре царил полумрак. Там открыли нам железную дверь в помещение, расположенное немного ниже первого этажа. Мы успели заметить, что здесь было несколько таких дверей. Видимо, целая система карцеров. Из-за других дверей доносились крики и настойчивый стук в дверь: заключенные, услышав, что ходят люди, требовали внимания. Что-то им было нужно. Конвоиры быстро заперла нас в



нашем карцере, и мы остались в очень тёмном помещении, куда свет проникал днем через несколько круглых отверстий величиной в 15-копеечную монету в железной доске, заменяющей окно, а вечером зажигалась под высоким потолком тусклая электрическая лампочка.

Когда глаза привыкли к темноте, выяснилось, что это очень небольшая камера, вторая половина которой была сплошными одноэтажными нарами, но стены ограничивали пространство так узко, что устроиться спать всем на этих нарах нечего было и думать. Было решено разделиться на две группы, в одной 6, в другой 7 человек, и спать поочередно, сменами. Одни спят, другие сидят у них в ногах. Сколько суток нам предстояло здесь пробыть, мы не знали. Я была из самых младших и молча слушала сначала, что говорили и советовали остальные. Не доверяя уже никому, решили, что говорить будем минимально, так, чтобы нельзя было считать наши слова какой-либо агитацией. Но зато договорились скрашивать время рассказами и чтением стихов. Это были хорошие товарищи и к тому же одаренные: одна была известная в Ленинграде чтец-декламатор (такая досада, что не помню я фамилии этой скромной, мягкой женщины лет 33), другая – яркая блондинка лет 40 по имени Регина Гуревич, в прошлом артистка. Эти две более других старались развлечь остальных дарами своего таланта. Разумеется, рассказы шли не непрерывно, но часто. Иногда рассказывалось содержание большой прочитанной еще недавно книги (всего четыре месяца тому назад), и тогда этой темы хватало на несколько смен. Но о своей семье, о себе никто не говорил умышленно.

Много доброжелательства к людям жило в натуре этих товарищей. Ведь, едва попав в суровую обстановку карцера, они сразу позаботились о том, чтобы как-то скрасить тяжесть положения. В узком пространстве карцера человек на 5, где помещались 13, ни разу не возникло никаких ссор. Каждая думала о других, не жалуясь и ничего не требуя для себя. До сих пор, вспоминая эту группу товарищей, удивляюсь их высоко-достойному поведению в эти две недели голодовки, без света и пространства. А кормили нас так: 400 гр. хлеба, вода и два раза в неделю по пол литра жидкого супа из капусты. Когда попадалось 1-2 куска картофеля, то он был такой почерневший и мороженный, что проглотить его было трудно, даже людям, лишенным другой горячей пищи. Поэтому постоянный голод мучил нас более всего. Помню, еще в лагере в камерах наши женщины научились делать шахматы из жеваного хлеба. Получались небольшие красивые шахматы, к тому же очень прочные, белые и чёрные, отмечались не цветом, а формой верха фигурки. Доски чертились прямо на нарах, и игра в шахматы была очень распространена среди нас. Хлеба нам всегда не хватало, и такие шахматы делались очень постепенно, уделялось чуть-чуть хлеба каждый день,

В условиях карцера мы уже не могли позволить себе такую роскошь, да и доску здесь расчертить было нечем.

Я много думала о своих друзьях, оставленных в камере. Я стала делать для них домино из хлеба, очень маленькие, размером в полтора сантиметров, но зато было время лучше их сделать. Домино высушивалось постепенно

и становилось как каменное. Его еще предстояло вынести, а вечные обыски были тому угрозой. Завернутое в какую-то тонкую тряпочку, оно все же было благополучно принесено мною, когда нас вернули в камеры. В карцере нас не обыскивали.

Было много тревоги от мысли, что нас вполне могут не вернуть в старые камеры, а поместить куда-либо в другие. А мысль о друзьях, с которыми мы успели так сжиться, составляла главный стержень наших радостей. «Человек не может жить без радости. Главным стимулом человеческой жизни является завтрашняя радость». Так говорил А.С.Макаренко, и это истина. Мысль наша не может, не должна быть постоянно угнетена. Разрядка необходима, что-то светлое должно существовать. И этим светом для нас была дружба. Мы научились жить интересами друзей более, чем своими. И от них мы также получали заботу и любовь. Наша компания по камере из 5 человек стала настоящей семьей. Я об этом часто пишу. Но впоследствии от людей, переносивших лагерь в других местах, я слышала ту же тоску о друзьях тех лет.

Но вот настал 15 день в карцере и отворилась дверь, нас повели отсюда. Значит, конец нашего срока. Яркий солнечный день (было часа 3-4), и ослепительный снег, и обилие кислорода в воздухе. Резкая смена темноты карцера на все это великолепие вызвало головокружение и заставило зажмуриться. Но мы поспевали за конвоирами. Странное чувство стыда и страха охватило меня. Мне почему-то было очень стыдно явиться вот так сейчас перед товарищами по камере после такого отсутствия в роли потерпевшей. Теперь я нередко спрашиваю себя: чего же я боялась? Возможно, здесь сыграла роль давняя нелюбовь в тому, чтобы меня жалели.

В страхе и смятении я переступила порог камеры. Но эти чувства, о, радость!, рассеялись быстро. Меня звали и спускались встречать мои друзья (наши места были на верхних нарах) . Но и лица всех товарищей по камере (а нас было человек 60) были так явно обрадованы за меня, что я почувствовала себя счастливой, и быстро забралась на свое место, все еще смущенно приветствуя всех. Сначала друзья поспешили усадить меня получше и были взволнованы и смущены тоже чем-то. Потом посыпались вопросы, а с других нар стали приносить мне какую-то еду, заботливо сбереженную от полученных посылок. Угощали меня многие, даже те, с кем я почти никогда не разговаривала. Сижу наверху, и вдруг в спину мне – узелок. Это еще и еще чье-то угощение.

Так счастливо закончился для меня этот день 15 января 1938 года, начавшийся мучительно стыдно. Во всяком случае, спать мы все пятеро улеглись успокоенные, а я была счастлива второй раз в наших условиях. Тося же уснула не сразу. На нее произвел впечатление вид вернувшихся из карцера: похудевшие и немного не такие, какие были: смущенные, оскорбленные. И вспоминалось из Блока: «Вот какой ты стала в униженьи, в резком, неподкупном свете дня».

Но и это, неожиданно нанесенное оскорбление, было стерто временем. А товарищи старались не напоминать.

## Глава 10. Быт. Будни.

Жизнь протекала обычно. За время моего отсутствия были и новости. Еще в декабре нам было разрешено писать письма домой. Писали все, и, конечно, часто, в надежде поскорее иметь ответ. Но, как выяснилось потом, из этих писем было отослано по одному, а остальные делись неизвестно куда. Они попросту не отправлялись больше начальством. Но и эти первые письма были счастьем для многих родных, и родные откликнулись письмами и посылками. Письма из дома также скоро прекратили нам давать. Видимо, не хотелось начальству возиться с их проверкой. Ведь без цензуры здесь письма не выдают и от нас не отправляют. А на наши вопросы, почему нет нам писем, начальство «разъясняло» – просто ваши родные и дети не желают иметь дело с такими преступниками. А посылки нам давали и впоследствии, и те родные, которые были догадливы и имели некоторые средства, продолжали регулярно присылать посылки раз в квартал. Впрочем, таких счастливиц было мало, .

Что касается меня лично, то я знала, что маме трудно живется, а теперь на ее иждивении оказался Митюша, поэтому я ей даже не писала ничего о посылках, только посылала подбадривающие письма. Кроме того, писать что-либо о нашем быте, а тем более жаловаться, вообще не разрешалось, и такое письма просто не отправили бы. Но зато я написала в Ленинград двоюродной сестре с просьбой прислать мне зимнее пальто, находившееся у них. Сестра выполнила эту просьбу и заботливо вложила в посылку еще съестное, так что у нас был маленький пир, как бывало всякий раз, когда кто-нибудь из нашей компании что-либо получал. Полине, например, присылали уже два раза «богатые» посылки. Ей прислали даже мулине... Это было большой роскошью. Но и здесь, как было в ленинградской тюрьме, получение посылок всегда сопровождалось слезами, тоска по дому резко усиливалась. Хорошие очень посылки с шоколадом, и т.п., присылали многим, и обслуживающий персонал говорил, что таких богатых посылок тюрьма никогда не видела.

Новостью было и разрешение гулять. Наши четыре деревянных длинных корпуса, окруженные высоким забором, имели пространство, годное для прогулок. Но была зима, сибирская зима. Гулять хотелось всем, но многие не имели теплой одежды. В ту пору из посылок поступали к нам нитки и иголки, и все принялись шить что возможно и из чего возможно. Все переделывалось, из старых чулок или кофточек вязались шапочки и перчатки, шарфики. Спиц не было, но какие-то крючочки умудрялись делать, из ручек от зубных щеток или палочек. У кого были ватные одеяла, укорачивали их и шили род телогреек. Даже вышивали эту сфабрикованную одежду и, надо сказать, получалось даже красиво. Терпеливы и

трудолюбивы были многие. Мысль вышивать нашла многочисленных последовательниц. Наши художницы составляли для нас рисунки прямо на материале, а мы потом их долго и старательно вышивали, широко обменивались нитками и, таким образом, имели набор нескольких цветов. Вышивали гладью, ришелье, филейной. Учились друг у друга. А уж крестиком создавались мельчайшие и очень красивые картины-медальоны. Их мы готовили в подарок родным при будущих встречах. Ибо надежда жила всечасно, и люди ждали, ждали внезапного «разбора дел» и освобождения.

Таким образом, гулять начинали, сфабриковав себе что-то, все более широкие слои наших з/к, к тому же многие носили одежду поочередно и бывали все-таки на воздухе. Вид наших жен в сфабрикованных костюмах был настолько экзотичен, разнообразен и часто нелеп, что появилось много шуток по этому поводу. На самом деле, ведь на нарах жили, лежали и сидели обычные знакомые люди, а на «Бродвее», как мы окрестили пространство перед бараками, людей бывало совсем не узнать, и это вызывало смех, а чаще горечь. Многие ведь не умели шить или из-за угнетенного состояния не могли брать в руки иголку. Они часто накрывались одеялом и так шли гулять. Или встретишь хорошее «домашнее» пальто, а на голове наволочка от подушки, далеко не новая к тому же. А на ногах – бог мой! – это был особо трудный вопрос. Где взять обувь, да еще зимнюю? Ходили и в шерстяных носках, к которым пришивали некие «подошвы», оборачивали ноги шарфами, разумеется, разными, подвязанными любым способом. А обувь не по ноге, взятая «взаймы», такой тоже было сколько угодно. Встретится особо нелепая фигура, всмотришься, а это, оказывается, весьма пожилая дама – астроном из Пулковской обсерватории. Астрономов у нас была целая группа, взятая прямо в Пулкове. Это были особые люди. Какие-то особо хорошие. В их среде не было доносчиц, жили они тесной компанией, но охотно разговаривали с другими и их все уважали. Фамилия старшей из них была Леман-Баланевская, другая – Нумерова, остальных не помню. Их было человек пять-шесть.

По-прежнему острым был вопрос стирки и умывания. За это чаще всего получали люди взыскания. А взысканием было лишение права на письма и посылки, в особых случаях – карцер. У нас была введена система дежурств по всякого рода уборкам и, кроме того, назначались дневальные. Дневальная имела в каждом помещении и должна была следить за порядком и соблюдением лагерных правил жизни. Стоя дневальной в умывальнике, я сочинила пародию на одну из известных тюремных песен:

Стою дневальной одиноко  
Я на ответственном посту,  
А люди моются широко,  
Наводят спешно чистоту.  
Мне все приметит корпусная,  
Окликнет раз, окликнет два.

Когда захочет ведьма злая,  
Моя пропала голова.

Действительно, вопрос заботы о чистоте здесь был столь же важен, сколь труден. Нас не только заставляли остро экономить воду, но почти не было и мыла. Мыло давалось маленькими кусочками в бане, примерно резался кусок на 12 человек, из расчета потребности на эту баню. Но мы экономили его как могли, и это был наш резерв для стирок и умывания. Часто мылись с помощью осколков кирпича. Это тоже вроде пемзы – годится отмывать руки. А баня бывала редко – раза два в месяц. Волосы требовалось мыть чаще, вот это и приходилось делать в умывалке, нарушая правила быстроты умывания с целью экономии воды. Эта потребность в чистоте тоже особенно развита у женщин, и в женском лагере принимала размеры бедствия.

Посылок приходило все меньше, а это был тоже источник получения мыла. Нас было уже около 1000 человек, а приходило 10-20 посылок в месяц. Баня давалась все реже. Горячей воды взять абсолютно негде. А чаю и кофе по утрам дают с добавкой и он без сахара. И вот компании из нескольких человек объединились и брали добавку в чашки, миски, если были свободные. И этот кофе или чай отдавали по очереди одной из компании, а та мыла им голову...

Еще одна забота была – чинка. Все приходило в ветхость и требовало много времени на чинку и бесконечные переделки. Износившаяся вещь всегда годилась на переделку на любые более мелкие вещи.

Остальное время было занято вышиванием, игрой в шахматы и беседами вдвоем или группой. Гуляя по «Бродвею», обычно парами, жены часто заучивали друг от друга стихи. Так я выучила всего лермонтовского «Демона» и многие другие вещи. А были среди нас и знавшие наизусть всего «Онегина». Мододцы люди! На воле время не тянулось у таких, и не могли они скучать даже в молодости. Чистый родник поэзии! Из тебя может пить каждый, а как все-таки мало людей, давших себе труд заглянуть в твои серебряные воды!

Когда-то мне повезло: в 11 лет я нашла на улице тетрадку, в ней оказались стихи Надсона. Шел 1922 год – разруха и голод. Мы жили в Феодосии. Ежедневно я ходила через весь город за обедом на Пехкомкурсы, где преподавал тактику мой отчим. Скучен длинный путь, и стихи помогали мне: они были очень мелодичны и хороши по форме, так и просились к заучиванию, только слишком грустные, однако, не все. И я довольно скоро, день за днем выучила все, что было в тетради. Идя в путь с судками, я повторяла их себе, и если можно так сказать, любовалась ими. С тех пор я заучивала и другие стихи, если они мне очень нравились. Музыка поэзии стала мне радостью. С годами любовь в стихам не угасала.

Поэзия – искусство. Всякое искусство (только подлинное) незримо беседует с человеком, и человек черпает в нем радость и моральные устои. Оно призвано широко помогать человеку, услаждать его и поучать. Зачем же столь многие проходят мимо него, не достаивая вниманием? Есть и такие взгляды: из этого сапог не сошьешь. Неверно! И еще какая польза! Человек,

коснувшийся и познакомившийся с любым родом искусства, не захочет произносить брань, не захочет обижать. Ему это станет не нужно. В нем поселятся другие интересы и другие чувства станут его, чаще волновать и занимать. Мораль повышается.

Тяжело и неприятно писать о том плохом, что свойственно людям и слишком часто проявляется. Скажу все же: на мой взгляд, мы, люди, в большинстве плохие. Нет такой статистики, но приходилось так считать. Однако, говоря о большинстве, я оставляю не менее трети людей достойных звания хороших. Это мое мнение, сугубо индивидуальное. Что делать, наука об этом не говорит... Всякого рода низость крикливее красоты душевной и заявляет о себе. Все хорошее скромно. Не потому ли я так ценю в людях скромность?

И вот у меня выработалась привычка отворачиваться от всего плохого, хорошее же притягивает к себе, и о нем я люблю говорить. Вот потому в этой книге вы найдете больше всего рассказов о хорошем, что встречалось в те года в окружающих меня людях. Было очень много хороших в нашем быту жен, даже вспоминаю из ряда обычных. Благодаря этому, я до сих пор вспоминаю этот период заключения с некоторой данью удивления людям, так часто положительно проявлявших себя в массе и в очень трудных условиях.

Сегодня дежурила Полина, завтра моя очередь (дневальные назначались по алфавиту, а дежурные подряд, как жили, по нарам). С вечера я захворала. Болела голова и был небольшой жар. Я лежала, наблюдая занятия товарищей. Полинка вышивала и шутила: «Какая нам разница, больные – лежим, здоровые – лежим. Большую часть суток проводим в лежании».

Н-да, лежачее житье. И кушать приносят прямо на нары. Комфорт настоящий!

- А ты вот что: завтра не вставай дежурить, я за тебя пойду!
- Посмотрим.
- Нет, обязательно. Какая тебе разница, ведь все равно потом за меня отдежуришь, не дашь и схитрить человеку.
- Ты у меня и так хитрюля. Только прозевай, и обманешь!
- Я-то? Всего вчера тебя с поличным поймала.
- Это редко, а ты уж постоянно. За едой смотри, за тобой, за мылом смотри.
- Перестань! И неправда.
- Ну кто только сегодня мне мыло подменил? Ведь я хорошо знаю, что мое было меньше, и не обманешь ты меня все равно. Ну не обижайся, дружочек мой. До какой степени у тебя быстро слезы наворачиваются! Ну, нельзя же так. И меня пойми, не могу я не реагировать.
- А это не от обиды. Не знаю, откуда они берутся.
- Девчата, новость! – влезает быстро на нары Тося, – Я слышала, что забрали ту польку, помните? Вчера... И случай ужасный. Они ведь дружили, две польки. И как! Всегда были вместе и жили рядом. Так вот, ее же подруга донесла на нее, что она высказывалась против русских.
- Опять донос! Откуда столько этих желающих?!

- И ведь надеются пока напрасно. Ни одну еще не освободили. Ну, дальше, дальше, Тосенька!

Мы придвигаемся ближе, и всегда осторожная и рассудительная Тося продолжает приглушенным голосом. Впрочем, никто не подслушивает. Есть у нас одна «опасная», как мы думаем, соседка Маруся Михайлова, но ее нет на месте. Другие не обращают внимание. Здесь привыкли не соваться в разговоры сложившихся групп: люди дружат и доверяют своим вполне, а ведь за всех ручаться нельзя. Как ни думай, а доносчицы есть, и наших товарищей последнее время все чаще вызывают вдруг на допрос, затем – с вещами. И такие не возвращаются более. Что же произошло, если не чей-то донос на человека?

Дальше Тося говорит, будто-бы полька донесла в третью часть такой пустяшный разговор: ее подруга сказала в компании, что в Польше лучше обычай угощать гостей. В России обязательно угостят водкой или вином, а в Польше – обязательно кофе. Вот и вся ее вина. И было достаточно передать это в третью часть, чтобы ее взяли «за агитацию» в пользу Польши. И вот ее уже нет среди нас. И более о ней мы ничего не знали.

Этот случай вспомнился, а ведь сколько их было! Просто предательство подруги, да еще одной и той же национальности, показалось нам чудовищным. В ту пору к нерусским з/к относились особенно подозрительно и часто брали человека по подозрению в связи со своей страной, где возможно и шпионство. О, только возможно! Изобличенных шпионов сажали в другие лагеря и судили их по своим статьям. Среди ЧСИРов их ведь не было.

Поэтому польки, немки, румынки жались друг к другу, сознавая свое особо опасное положение. И вдруг такое предательство своих же!

В наш угол очень часто приходила играть в шахматы Шарлотта Мунд. Мы с ней познакомились и вскоре полюбила даже ее. Это была немецкая коммунистка, муж ее, как коммунист, был известен в Германии: сильный оратор и очень популярный среди рабочих масс. Когда Гитлер объявил большую сумму за его голову или поимку, то подпольная организация перебросила его с женой в Советский Союз, и они работали в нашей стране. Рассказала Шарлотта однажды и такой случай с нею в Германии: в период выборов она вышла с развернутым коммунистическим плакатом и встала у здания, где проходили выборы. К Шарлотте подошел мужчина, протянул ей руку и сказал: «Я не коммунист по убеждениям, но я преклоняюсь перед вашей смелостью, так как вы не побоялись придти сюда». Пожав ей руку, мужчина отошел, а в тот же миг, на его глазах, группа неизвестных людей в ключья растерзала плакат.

Шарлотта очень тепло отзывалась о нашей стране. Рассказывала, как первое время ей было трудно разговаривать на русском языке. Муж учил ее, что когда он будет ее с кем-нибудь знакомить, то надо сказать: «Очень приятно», но вместо этого она сказала «Очень жаль». «И все рассмеялись, а у меня стала красная голова», – так передала сама Шарлотта этот эпизод, она и теперь еще по-русски говорила плохо, но была очень приятным человеком. Их было несколько человек у нас, но имена остальных я не помню. Им

никто не писал и не присылал посылок.

В лагере нашем нередко происходили реформирования, то есть людей перетасовывали как карты, распределяя в корпусах по новому порядку. Свыкшиеся друг с другом люди оказывались опять среди мало знакомых людей. Так была переведена в другой барак наша Полина. Но возможность видеться благодаря свободному хождению, не делала разъединение разлукой и днем мы бывали все вместе. Мы ее звали Полинкой, так как у нее был очень маленький рост и детская сердечность. Но была и серьезность.

Еще до начала реформирований, когда мы жили в небольшой камере на 60 человек, у нас попался хороший народ. Я не могу никого из них назвать склочными людьми. Каждый занимался чем хотел, не мешая друг другу и даже избегая шума. У кого были нитки и склонность к шитью, часто вышивали. А нитки можно было изыскать: распустить кружево, чулки, укоротить низ шелкового белья, вытянуть из маркетизета. Нитками можно было обмениваться, подбирая цвета. Среди нас была одна очень остроумная женщина, жена большого работника Пулковской обсерватории. Мы любили ее за незлобность и ее ум. В любые очень горькие минуты она умела рассмешить, заставить людей забыть горе хотя бы ненадолго. Эта женщина, не помню ее имени, вышила маленький коврик, намекавший на наше положение и невозможность что-нибудь сделать для наших детей: два домика один против другого, в каждой их них по окошку с решетками. В одной из них грустный котик, а из другого смотрит грустная кошечка. Между домиками на улице на коврике сидят зайчик и еще какой-то зверек.

Пока это было в нашей камере, все было хорошо. Коврик показывали открыто, и ничего не было. Настал день, когда началась перетасовка. Эта создательница коврика попала в камеру, где старостой была Екатерина Фокина. Там тоже она не скрывала коврик и показала кое-кому из соседок. Люди смотрели так же с интересом, коврик всем понравился, никто не сказал, что это небезопасно в камере. На утро (это было летом) мы гуляли по улице или сидели с работой у стен на кирпичиках. Из помещения третьей части вышел Кий, начальник лагеря, сменивший Гнедика. Он шел с серьезным видом быстрой походкой прямо в третий корпус. Мы решили, что будет какое-нибудь интересное сообщение, и устремились за ним. Мы еще не знали, в какую камеру он войдет. Кий вошел в камеру, где властвовала Фокина, а камеру захлопнул, и никого туда не пустили. Но из окон были вынуты стекла, и люди увидели происходящее: на верхних нарах в немом молчании на коленях стояли заключенные (здесь, значит, Фокина добила дисциплины вполне), остальные стояли внизу. Не было слышно ни звука. Оказалось, что в этот момент делали обыск у той, которая вышила коврик. Коврик был найден и взят. Кий вышел, той же деловой походкой проследовал в третью часть обратно. Хозяйка коврика получала двадцать суток карцера, и еще дешево отделалась. Мы все ее жалели. Но что из этого?

Некоторые из нас вызывались в комендатуру и им задавались нелегкие вопросы. Было известно, что не раз в том числе спрашивали, кто написал «Арсеналку» и «Косыночку газовую». Видимо, других стихов они не знали. И вот не нашлось человека, который выдал бы меня и мою тезку Ксану



Митрофанову. От Фокиной мои друзья давно научились скрывать все, что было опасно доверить ей, и при ее появлении вообще смолкали. Знали мы и ее приближенных и тоже опасались.

А «Арсеналка» моя уже имела свою историю. Я писала, что, уходя из этапной камеры Арсенальной тюрьмы в Ленинграде, я написала ее карандашом высоко на стенке и указала, что она на мотив «Замучен тяжелой неволей». И следующий этап из Ленинграда знал и пел эту нашу песню. Одна из заключенных второго этапа, Варя Веселова, умевшая талантливо лепить, сделала из хлеба фигурку: женщина держит на руках ребенка, а другой рукой держит за ручку второго. Под руки фигурке перед уходом так же в этап были вложены записки: одна – «На этап», а вторая – текст «Арсеналки». Фигурка эта была оставлена ими для следующего этапа. Видимо, фигурку нашли конвойные после отправки этапа и, возможно, с тех пор начали искать ее автора. Но не нашли. Никто не выдал, хотя знали многие.

Однажды здесь в лагере на стене оказался нарисован самолет, оттуда выглядывали женщины. Была под ним и надпись неизвестного автора, означавшая предполагавшуюся отправку в Нарым: «Жен по небу быстро прет огромный самолет». А один случай был очень тревожный: как-то вечером после проверки и отбоя послышались на улице крики: «Стой! Стой!» – и всё стихло. Мы поволновались и уснули. Утром встали, попили чаю и пошли на улицу. Было немало разговоров о ночных звуках, но никто ничего добавить не смог. А часов в 11 пришла одна из наших жен и таинственно сообщила, что в четвертом корпусе ночная дневальная на крыльце нашла записку. Записка была написана от руки печатными буквами: «Женщины! Что же вы молчите? Боритесь за своих детей! Объявляйте голодовку! Мы помогаем вам!» Подписано: «Мужчины». Как отреагировать на эту записку? Что предпринять? Посоветовавшись, решили голодовку все же не объявлять. Во-первых, это строго запрещалось, во-вторых, это могло быть провокацией и повлекло бы ненужные жертвы.

Прошло месяца полтора. Вдруг начали вызывать то одну, то другую в третью часть, и в числе вопросов темой была и эта записка. Потом все затихло как-будто.

## **Глава 11. Не знаем куда вас деть.**

Самое ужасное, что развращающе действовал на людей этот режим. Здесь доносы требовались и поощрялись. Если кто-то видел чужую провинность и не донес, того наказывали вместе с провинившейся. И поднимала голову подлость человеческая по призыву себе подобных. Ибо начальство наше было далеко не на высоте и это было явно.

А режим наш волею начальства складывался так: иной работы, кроме самообслуживания в части уборки барака и территории, не было. В обязанности дежурных входила и раздача пищи, так как столовой не было, и каждой подавался хлеб и суп, или каша прямо на нары. Меня перевели в другой барак, где не было камер, а помещение было единое, длинное, сразу

на 250 с лишним человек, с длинными нарами, конечно, в два этажа и узкими проходами. Дежурило человек 6-8, остальные не имели дела, и большинство наших жен очень тяготилось этим вынужденным бездельем. Шли месяцы, желанное освобождение не наставало. Люда стали просить начальство дать им какую-либо работу. Ответ был ошеломляющий: «Вы не достойны работать!» В сущности, это было апофеозом отношения к нам. К нам нет никакого доверия, работу нам доверить нельзя! Эта фраза словно пришибла нас, и каждая думала: «Кто же мы, и что с нами будет дальше?» Обращались с нами, как с большими преступниками против собственной страны. Презрение, окрики, ругань.

Вначале, когда нас перевели в этот «лагерь жен», как мы его именовали, начальником этого лагеря был некий Гнедик, человек неглупый, но скоро его заменил некто Кий, высокий, далеко не такой толковый. Однако и он исчез с нашего горизонта через два-три месяца, и нашим главным начальником остался сего лишь комендант, вовсе уже малограмотный. Это все отражалось в издаваемых им приказах о взысканиях, копии которых вывешивались у нас в лагере. В бытность коменданта приказы стали просто смехотворны по форме, и грамматические ошибки были страшные.

Так кто же мы, если нами управляет такое ничтожество, знающее только бесконечные репрессии карцером, или даже «пришивалось» новое «дело», и провинившаяся навсегда исчезала из лагеря, получив самостоятельную 58 статью? В какие лагеря или тюрьмы отправляли этих несчастных, никто не знал.

Такая участь постигла впоследствии также Людмилу Шапошникову. Это была светлая личность, как я считаю. О роли Людмилы Кузьминичны Шапошниковой в нашей жизни я расскажу особо. Она принадлежала к людям, пытавшимся сколько-нибудь улучшить общее положение. Дело в том, что положение жен в лагере систематически ухудшалось. Отношение к нам было как к настоящим париям. Даже работать мы не достойны! Запрещена для нас была всякая связь с внешним миром: письма наши не отправляли и вскоре запретили вовсе. Если на территорию лагеря въезжала машина ассенизатора или с продуктами (готовили мы сами, это была постоянная бригада кухонных работниц из наших жен и они даже жили отдельно в том корпусе, где была кухня. В их число попала и наша Клавушка, и с тех пор не жила с нами и мы почти не виделись), то нам давался свисток, и мы были обязаны живо вернуться в корпуса на свои места и сразу завесить окна. Вот какие мы были преступницы, что нас никто не должен был видеть, и ради единственного шофера (так как от конвоиров нас не прятали) всякий раз завешивали окна. Безусловно, среда нас были любопытные, которые пытались заглянуть в окно на приехавшую машину, чуть отодвинув то, чем завешено окно. Обычно это было одеяло. Но остальные жены не позволяли им ничего подобного, так как взыскания были строгие, и среди нас каждый наблюдал, чтобы никто не нарушал запретного. К тому же взыскания часто накладывались на корпус в целом, так как солдаты, караулившие нас, отлично понимали, как выгодно заставить всех следить друг за другом.

Но все эти строгости выглядели нелепыми. Сколько народу могло бы работать, хотя бы веники вязать, что ли. Нас презирают, а кормят, выходит, зря. Когда мы напоминали уже весной, что в приговоре нам указан Нарым, где наверное, была бы нам работа (и где хоть, может быть, поэтому кормят лучше, думали про себя), то нам отвечали, что пока такого распоряжения нет. А держали нас здесь как-будто временно и прятали ото всех, даже от шоферов. Все было странно. И грозное для нас слово НКВД наши жены расшифровывали теперь так: «Не знаем, куда вас деть». Такие крылатые выражения быстро облетали весь лагерь, их знали и повторяли все.

Так же бывало со всякого рода новостями, верными или неверными, всё равно. По лагере очень часто носились слухи, говорившие нам о скором освобождении, или о новостях в режиме. Их черпали из мимолетных фраз начальства и просто из равного рода догадок, чаще всего ошибочных. Слухи! Слухами, опять же, очень скоро распространявшимися, полны все лагерь и места заключения, ибо люди там изолированы, мало имеют фактов, а живут они все надеждой на освобождение или облегчение своего положения. Это относится равно и к людям с политическими статьями, и с уголовными. Никто не равнодушен к мысли о свободе, этой мыслью и живут.

Среди нас были и жены, взятые с маленькими детьми. Детей было немного, человек семь. Жены с детьми помещались отдельно в четвертом корпусе, и детей кормили хорошо, им стряпали отдельно и они выглядели здоровыми. Но многого они не знали и не видели. Так, однажды, когда на нашу территорию въехала телега, то старший ребенок сказал на лошадь «собака». Дети были предметом любви и забот всех нас.

У одной из матерей по имени Вера была грудная девочка, ее звали Елочка. Елочке было около года. С момента ареста я Веру не помню, но о ней рассказывали, что когда еще до ареста ее вызвали в НКВД и узнали, что у нее грудной ребенок, ее отпустили. Но вскоре пришли к ней на дом и взяли вместе с грудной девочкой, а второй дочери, еще небольшой, она дала денег на проезд в Ораниенбаум к бабушке с дедушкой, и потом долго не знала, доехала ли девочка благополучно. Их, матерей с детьми, брали близко перед этапом.

Когда нам разрешили в томском лагере переписку с родными, Вера написала тоже, и ее мать стала хлопотать, чтобы и эту девочку отдали ей. Но это длилось долго, и когда, наконец, было дано разрешение, мать из Ораниенбаума приехала за внучкой в Томск. У нас быстро прошел слух, что приехали за Елочкой. Все были взволнованы. Через некоторое время мы увидели, как Вера с Елочкой на руках и с маленьким узелком прошла в комендатуру. Там ее обыскали, и в сопровождении стрелка Вера с ребенком направилась к воротам. У ворот Вера поцеловала ребенка и отдала Елочку стрелку. Стрелок скрылся в воротах, а Вера еще стояла, закрыв воротником голову. Ее окружили товарищи и повели в камеру. А в нашей камере все плакали и даже рыдали. У одной из наших женщин начался приступ эпилепсии. Одни держали ей руки, другие – ноги, третья – голову, старались не дать ей биться об пол.

Свидание Варе с матерью не разрешили. Только было разрешено матери дать ей телеграмму по приезду на место. Когда телеграмма пришла, Варе хоть стало спокойнее за детей.

## **Глава 12. Людмила Шапошникова.**

Среди нас было немало женщин, пользовавшихся большим уважением товарищей. Из них Людмила Кузьминична Шапошникова, мне кажется, особенно выделялась. Она обладала умом, ровным характером и, главное, готовностью идти на помощь всем нам сразу. Это была общественница по натуре, хорошо образованная, в прошлом – директор какой-то крупной фабрики в Ленинграде. Блондинка с хорошей улыбкой и большим лбом, чуть выше среднего роста, всегда очень уравновешенная. Было ей около 40 лет. В ранней молодости – партизанка. Как-то, сидя на корточках в ожидании бани, Шапошникова рассказала нам: в период гражданской войны партизаны часто бывали голодны. Однажды, лежа под телегой на отдыхе, она сказала: «Неужели будет время, когда я буду есть булку с маслом?» Спустя годы посетил ее один из партизан ее отряда. За столом он спрашивает: «Что тебе намазать?» – Хлеб, конечно, хлеб». – Но он намазал ей булку и сказал: «Я хочу посмотреть, как ты будешь есть именно булку с маслом!» – и, улыбаясь, напомнил ей этот эпизод под телегой, где был и он с товарищем. Не с тех ли юных лет усвоила она привычку жить для людей и доверять им?

Она была хорошая шахматистка, и часто ее можно было видеть за шахматами. Ее возмущала деятельность Фокиной и ей подобных. Она высказалась: "Безобразие, что делается у нас! Каждое распоряжение комендатуры возводится нашими в 4-ю степень» За это она получила первый карцер. А Фокина, действительно, запрещала нам еще больше, чем указало начальство. Шапошникову она не терпела.

Прошло немало времени. И пришлось ей испытать второй карцер, на этот раз, за 2 заявления, написанные ею. Одно – по чужой просьбе, другое – для всех нас. Она считала, что нашему общему положению в лагере можно и нужно помочь. Кто-то ведь должен был сформулировать эти вопросы и предъявить их начальству.

Главным вопросом была развивающаяся цинга и другие болезни на почве голода. Основное наше питание – хлеб, доставляли крайне неаккуратно. Случалось, что его не было по 3 дня. Полагался сахар в мизерном количестве, но его не давали уже полгода. Сахар был подспорьем тем, кто особенно страдал от голода, так как его выдавали сразу на месяц, и его можно было выменять на пайку хлеба. Дневная порция хлеба во всех лагерях называется пайкой. Пайка бывает разная по весу, в зависимости от того, сколько тебе положено получать. Но дневная норма – всегда пайка, большая или маленькая.

У некоторых были небольшие деньги, их присылали нам родные для приобретения в ларьке продуктов, иногда папирос, кому надо. Но и ларек не

открывался по месяцам. И все это привело к голоду, настолько систематическому, что больница стала мала. Под нее освободили целый корпус из четырех, но и его было мало. Картина была ужасная: у людей распухали и отнимались ноги, и вот уже ведут одну, другую под руки в переполненную больницу. Это стало обычной картиной.

Мы спрашивали нашего коменданта: почему нет хлеба и т.п. Он отвечал, что привезут. А вскоре вообще почти перестал у нас появляться. И вот Шапошникова составила письменное заявление с требованием прислать к нам прокурорский надзор. Его здесь еще не бывало, и мало кто знал, что он полагается. Это было большой смелостью. Наши жены, как я уже писала, были робки чрезвычайно. В заключении было правилом добиваться чего-либо от начальства только для себя лично, если человек уж настолько храбр. Всякое понятие "мы" расценивалось, как политическая группировка, и это быстро приводило к суду. Но Шапошникову не интересовало улучшение только ее положения. и она подала заявление, где было обрисовано наше положение и заключалась просьба прислать прокурорский надзор. Но повод для карцера был избран другой.

Она написала еще одно заявление по просьбе одной из наших недостаточно грамотных женщин (были ведь и такие) о ее личных делах. Кто-то донес об этом. И еще о том, что она вслух возмущалась доносами: по ее мнению доносящие портят этим положение самим себе и всем нам. Возмущалась она не начальством, а своими же товарищами. Это было передано в комендатуру, возможно в другом освещении. Ей дали второй карцер. Возмущенная несправедливым выводом из ее слов и надеясь ускорить вызов прокурора, она в карцере объявила голодовку. Ее голодовка (дней 5-6) была прервана вызванным, видимо, по этому случаю начальством, не помню, был ли это прокурор, другие ли лица. Они довольно долго ходили по лагерю и спрашивали нас, какие имеются претензии. В результате, на другой же день появился настой хвои для нашего лечения, затем было появление каши из сои, продукта питательного и сытного. Голод стал спадать. А через 2-3 месяца наш лагерь стали расформировывать. Вот какие важные события последовали за появлением надзора. И ускорил их поступок Шапошниковой,

Но для нее факт голодовки был во всех отношениях тяжелым фактором. Кроме подрыва здоровья, такой шаг расценивался как недозволенное выступление. Спустя некоторое время Шапошникову от нас изъяли. Это было уже зимой 1936 года. Третьей зимой, началом третьего года нашего заключения, уже в лагере на станции Яя, у Людмилы Кузьминичны за это время было немало неприятностей, о них тихонько передавалось друг другу. Узнав, что ее вызвали «с вещами», некоторые принесли ей продукты на дорогу из своих посылок, предлагали теплые вещи, даже зимнее пальто (у нее не было), но она не согласилась взять, и ее увел конвоир. Что было с нею дальше?! Теперь известно, что она была расстреляна.

### Глава 13. Еще портреты.

Наш первый этап из Ленинграда был человек 300. Мы были первыми жителями в устроенном для нас засекреченном лагере ЧСИРов или просто жен, как мы его называли. Но уже в начале 1938 года среди нас были и другие члены семьи по той же статье. Например, сестры Тухачевского, мать Ягоды. Эти были уже из Москвы. Следом за нашим этапом, как я уже писала, стали поступать этапы из других городов: Москвы, Киева, Харькова, еще второй этап из Ленинграда. Были еще и из других городов.

Когда нам стали разрешать гулять, произошло наше знакомство со вновь прибывшими и прибывающими. Картина их ареста была та же, только иные следователи были более жестоки, иные – менее. Москвички привезли с собой сочиненную ими песню. Кажется, она сочинялась коллективно. Мотив ее я дала эпиграфом к этой книге. Слова помню не полностью, песня была длинная, но куда бодрее нашей. Вот такая:

Это мы, ваши жены-подруги,  
Это мы свою песню поем.  
От Москвы по сибирской дороге  
Вслед за вами этапом идем.  
Прочитали в Бутырках нам приговор,  
Дали каждой жене 8 лет,  
И, вручив конвоиру пакеты,  
Повезли нас по 100 человек.  
Было тяжело в холодной теплушке,  
Ели мы только рыбный кондер,  
У конвоя просили мы свечку,  
Не теряя былой наш задор.  
Мы не плачем, хоть нам и неможется,  
С верой твердой вперед мы идем.  
И в любой край страны необъятной  
Мы свой пламенный труд принесем...  
Этот труд даст нам право на волю,  
Нас страна снова примет как мать,  
Знамя Ленина - Сталина будет,  
Как и прежде, наш путь освещать.

Наша Тося переделала песню:

И Владимира Ленина знамя  
Будет снова наш путь освещать.

Были у них и частушки и такая песня:

Маша, моя Маша, Маша дорогая,  
Здравствуй, а быть может и прощай!

Ты любила мужа, всюду с ним бывала,  
Так теперь восьмерку получай.

Из Москвы прибыли жены и родственницы наших недавних вождей. Я уже упоминала о сестрах Тухачевского. Это были очень милые темноволосые женщины. Одну звали Марией, другую – Ольгой. Они были не очень молодые, страшно убиты горем, и держались всегда вдвоем. Добрые по натуре, они, кажется, потеряли всякую веру в справедливость, и держались робко и замкнуто. Их было как-то особенно жаль, хотя счастья не было здесь ни у одной.

Вскоре мне показали и Нюсю Бухарину, жену Бухарина. Прежде всего поразило, что она была очень молода, а выглядела еще моложе своих 34-х лет. Что-то юное и свежее было в ее оригинальной красоте. У Нюси синие глаза гораздо темнее, чем бывают голубые. А волосы черные, ниже плеч, скромно подобраны в пучок. Нежный румянец и белизна лица. Держится очень скромно, с большим достоинством. Говорит, что любит мужа, что он прекрасный человек, и гневно отказывается верить во что бы то ни было плохое, а тем более в его измену делу коммунизма. Впрочем, в лагере она себя проявляла мало.

Эта ее вера в мужа поражает и внушает к ней уважение, так как указывает на ее мужество. Однако, среди нас, также верящих в невиновность наших мужей, личность именно Бухарина, как руководителя крупной антисоветской группы, считалась подлинно виновной, как и Каменева. И только жена Якира публично в газете отказалась от своего мужа, "отмежевалась". Это потому, что она боялась за их сына. И все-таки мы осуждали ее, конечно.

И вот по «Бродвею» идет Якир, жена командарма 1 ранга... Она одна, взгляд углубленный в себя. Похоже, что она страдает больше других. И редко она ходит с кем-либо. Немного выше среднего роста, держится прямо, и ее голова даже чуть-чуть закинута назад и увенчана копной пышных рыжеватых волос, подстриженных коротко. Сильно изменила судьба эту женщину (лет 40), от природы веселую, жизнерадостную и остроумную. В самом деле, был муж (и какой орел!), был сын, еще мальчик, о судьбе которого она не знала, хотя известно, что и он впоследствии был арестован. Была она сама в прошлом тоже участницей гражданской войны. Затем работала в Осовоахиме... Одно хорошо: пришлось ей в дальнейшем, в 60-е годы видеть книги, посвященные памяти ее мужа, где и о ней сказано много теплых слов. Суждено ей было увидеть хотя бы частично восторжествовавшую справедливость. Сын ее ныне аспирант института Истории Академии Наук СССР.

Среди жен-киевлянок выделялась Женя Венгерова. Это весьма известная певица, кажется, оперная. У нее был чистый и какой-то полнокровный голос приятного тембра. Она пела нередко вполголоса, а мы окружали ее на «Бродвее», слушая. Наружность у неё приятная, она русая. Не красавица, но статная, среднего роста, с хорошей фигурой, благополучно ли кончилось для нее заключение? Сохранился ли ее голос и

поет ли она теперь на сцене?

Среди нас вообще было много людей с хорошим образованием, умных, много было талантливых. Люди эти, безусловно, незаурядные, вызывающие уважение. Они, естественно, были на виду, и ими направлялся дух нашего лагеря. Это даже не было заметно, но это было так. Кого уважают, тому подражают. И это было благотворно.

Грубость среди нас почти отсутствовала. Аккуратность, дисциплинированность внешняя и внутренняя передавалась всем. Вот почему я особое место отвожу нашему лагерю. Там было легко завести интересное знакомство. Там часто приходилось услышать то хорошее (приглушенное!) пение, то любопытный рассказ, исполненный талантливо, то стихи. Одна из соседок, играя со мной в шахматы, тихонько насвистывала арию мадам Баттерфляй очень правильно и нежно, иногда и другие вещи. Она знала и напевала арии и даже аккомпанемент «Пиковой дамы». Да, много талантливых людей на свете! А тут они были собраны как лучи в капле воды.

Помню двух художниц, окончивших Академию художеств в Ленинграде. Об одной я уже упоминала, это Нина Лекаренко. Она вообще была одарена богато. Очень хорошенькая, небольшого роста, с хорошей фигурой, она не похудела даже в лагере, наверное, ей шли хорошие посылки. Да и друзья (они по-прежнему дружили вчетвером), видимо, о ней заботились. Умница, острая на язык. С нею очень интересно было общаться. Впрочем, мне это случалось редко. Их компания вообще была очень замкнутой. В дальнейшей жизни Нина проявила немалую практичность и ее разборчивость в выборе друзей стала иной.

Вторая художница, тоже с высшим образованием, была Элеонора Максимилиановна Кондияйн, или просто Нора Кондияйн. Она была совсем другая. Старше Нины лет на 15 (ей было больше 40). Я никогда не видела их вместе. У Норы короткие густые волосы, немного выются, заметна седина. Впоследствии я с Норой очень подружилась. Нас опять дружило четверо, но это уже были другие люди: нашу прежнюю компанию тогда уже разлучил этап. Еще одна художница, дружившая с нами, была Мариша Юнг. Моложе меня на 4 года, она была деятельной, очень хорошо писала стихи, и я с нею тогда очень подружилась. В томском лагере она мастерски колола дрова, и однажды была ранена в работе, так что боялись за ее жизнь. Познакомилась я с нею и с Норой уже в общем лагере на станции Яя Томской ж.д., куда нас перевели в конце 1938 года, а мои прежние друзья попали в лагерь в Магадан. Мариша в лагере прошла курс механиков и работала по ремонту швейных машин. Причем ее поставили работать среди уголовниц, и Мариша проявила немало ума и смелости, чтобы добиться уважения этого контингента.

## **Глава 14. Первая половина 1939 года.**

Вернусь немного назад. Подходил 1939 год. Зимние месяцы загоняли людей по нарам. Было очень холодно, и гулять было можно по 5 - 10 минут,



больше не выдержать. Многие, большинство даже, не гуляли совсем. Люди слабели и теряли всякую энергию. Часто можно было видеть лежащих тихо часами. Поднимались только утром, чтобы немного умыться, и тогда, когда нам приносили еду. Было очень голодно, и это порождало слабость и цингу. Те, кто лежали, слабели быстрее остальных. Поэтому мы старались даже против воли идти погулять; что-то шить, но не лежать. И следили друг за другом, заставляя бороться со слабостью.

Помню Олю Ремизову, она жила в нашем корпусе, но на других нарах. Она часто, раза два в день, приходила играть со мной в шахматы. У нее были необщительные соседи, и ходить к ней было не так удобно. У Оли была хорошая фигура и своеобразная походка с чуть приподнятой головой, увенчанной вокруг русой косой. Она не была красива, но очень привлекательна, и чувствовалось в ней здоровье. Немного замкнутая, она нередко шутила, именуя свои пешки «пешуленьками», а мои – «агрессорами». Глядя на нее, часто думалось, что уж очень трудно быть одинокой, вот такой, словно созданной для жизни, с отлично слаженным организмом молодой женщины. Оле было 28 лет.

Часто подсаживалась к нам и Аня Тутова. Она была старше нас, лет 45-ти, худобы необыкновенной, некрасивая. Она изнуряла себя окончательно всякой заботой о других. Особенно она любила Полину и к ней-то и приходила. На Аню невозможно было злиться, это была сама доброта. У нее был вкус, и она очень гонко вышивала гладью, всегда в подарок кому-то из товарищей. На воле у нее остался сын 9 лет и очень старая мать. Аня много и часто плакала, едва вспомнив о них. Полину она любила, кажется, больше всех в лагере и относилась к ней по-матерински, хотя Поле было уже 35 лет.

Однажды в ту пору я дежурила о Тосей, и мы натаскали большую бочку воды для питья. Работа трудная для ослабленных зека. Видимо, у меня было какое-то болезненное состояние, и я вдруг подошла к бочке и вымыла спокойно там руки...

Испугавшись собственного поступка, я заверила дневальную, что воду сейчас заменю свежей. Дневальная нас пожалела, посоветовала не выливать воду и обещала никому не говорить о случившемся. Но я мысленно видела перед собой товарищей с кружками в руках, подходящих напиться. Я не могла согласиться оставить эту воду. Ошеломленная Тося молча принялась мне помогать, хотя я ее просила оставить этот труд: виновата была я одна, а она устала больше меня. Но Тося – товарищ с большой буквы, она продолжала упорно выносить из бочки вместе со мною ведрами эту злополучную воду, после чего мы наполнили бочку снова свежей водой.

Все-таки требование Шапошниковой прислать прокурорский надзор, нашло, наконец, отклик. Правда и другие наши жены после повторяли ту же просьбу при случае, если заходил изредка комендант.

И вот пронесся быстро слух: «Комиссия!» Явилась комиссия из нескольких человек. Лагерь велик, не все могли даже расслышать, что говорилось. Они задавали вопросы о том, как нас содержат и на что мы жалуемся. Мы жаловались на ГОЛОД, отсутствие мыла, ларька, отсутствие работы. Комиссия обещала разобраться и отбыла. После этого довольно

скоро нам завезли и стали давать неограниченно питье из хвои, и еще появилась соевая каша. Это очень сытное блюдо, имеет цвет и вид гороха, только протертого. Давать ее стали часто, ежедневно и даже дважды в день. Конечно, она скоро приелась и стала противной, но человек голодный мог утолять голод и это было важно.

К весне соя и хвоя все-таки помогли, люди заболели реже. Вместе с теплом появилась возможность бывать па воздухе. И тут мы столкнулись с тяжелым фактом: одна из наших жен, увы, не первая, миловидная худенькая брюнетка, сошла с ума. Это было тихое помешательство и выражалось оно очень странно. С утра до вечера стояла она у столба в самом центре прогулочной полосы. Столбов было три, они освещали территорию лагеря. Она была не из нашего корпуса. Соседки ее по нарам рассказывали, что они давно уже заметили в ней странности. Она не спала по ночам, лежала с открытыми глазами и молчала, не интересовалась едой, ее приходилось заставлять есть. И теперь ее во время еды кто-нибудь всегда уводил поесть, после чего она снова возвращалась к столбу и стояла молча. Руки ее за спиной опирались на столб. Было жутко на нее смотреть. Но пришлось привыкнуть и к этому: гулять было необходимо. Начальство ей не верило и в больницу ее не брали.

Вообще, многие заболевшие встречали со стороны начальства полное недоверие и таких больных не лечили. У одной случилось буйное помешательство, ее увезли лечить. Еще распространенной болезнью стала куриная слепота. Однажды вечером и я обнаружила вдруг, что теряю зрение, и скоро не стала видеть совсем в тот вечер. В таких уже известных случаях приходилось товарищам водить под руки ослепших, когда требовалось идти, скажем, в больницу. Сначала это заболевание далось долго: днем человек видел, а вечером и ночью не видел. Но потом завезли в больницу рыбий жир, и он очень быстро за 1-2 дня вылечил. Так было и со мной. Но заболевание это очень неприятно, потому что вынуждает всецело зависеть от товарищей, а было совестно перед ними.

Кроме того, живя в деревянных бараках, мы всегда боялись пожара. Ведь были среди нас и курящие. В этом отношении заболевшим было всего опаснее.

К этому времени, к весне 1939 года, относится еще одно, самое крупное написанное мной стихотворение. Оно сочинялось так же без бумаги (я уже к этому привыкла). Задумала я его по типу сказки «Конек-Горбунок». Его начало соответствует нашей дороге равниной до Урала и лесами после Урала. Приведу его, в нем отражено основное в нашей жизни. Только оно было много длиннее, не помню всего:

За полями, за горами,  
За высокими лесами,  
От столиц вдалеке,  
В Томске на Томи-реке  
Расположена тюрьма,  
В ней сидит народу тьма.

Та тюряшка не простая,  
Есть о ней молва такая:  
Сколько тюрем не пройдешь,  
Хуже этой не найдешь.  
И везут туда гурьбой  
Жен, обиженных судьбой,  
Потерявших за мужей  
И свободу, и детей.  
Тихих, робких, как овца,  
Только плачут без конца.

Все возможно в этом мире:  
Взяли корпуса четыре,  
А заборник метров пять  
И пустили их гулять.

Чтобы было меньше писку,  
Разрешили переписку,  
Но из писем все равно  
Отослали лишь одно.

В карцер начали сажать,  
К дисциплине приучать,  
Выпуская каждый раз  
Малограмотный приказ.

А, едва сюда попав,  
Не имеют люди прав.  
Дышат, думают, живут,  
Только так, как им дают.

Стирка- редкость, баня - тоже  
Это вовсе не похоже  
На советскую тюрьму!

Жены дивятся всему:  
«Что-то плохо больно шибко,  
Не иначе - здесь ошибка!»  
И родился у людей  
Ворох мыльных пузырей.

Их фантазия богата:  
«Едем! Ждите нас, ребята!»  
Полтора проходят года,  
И желанная свобода

От описанных зека  
Как и прежде далека!

Гнедик, Кий давно забыты,  
Третья часть, и та закрыта.  
Комендантиска один  
Полноправный властелин.

Стало хуже с каждым днем,  
Карцер ломится при нем.  
По вине, иль без вины  
Отсидеть вперед должны,

А потом ищи концов  
У соседей-подлецов.  
Баню выждали зека  
Ровно сорок два денька.  
Дождались, а им дают  
По пятнадцати минут.

Что ни вечер - нет огня,  
Хлеба нету по три дня  
И четвертый месяц ждут,  
Пока сахар подвезут.

Жены начали хиреть,  
И паршиветь, и болеть,  
Уж едва волочат ноги,  
Осмелели от тревоги,

Стали требовать с тех пор  
Чтоб явился прокурор.  
Тут начальство увидало,  
Что порядком оплошало,  
Что цинга кругом пошла,  
Что больница уж мала.

Перетрусили слегка:  
За порученных зека  
Не пришлось бы отвечать!  
Надо дело поправлять.  
Жен тут начали лечить  
И усиленно кормить,

Ешьте, если вам не лень,  
По четыре раза в день.

От побудки до отбою  
Ешьте сою, пейте хвою.

Обещали и ларек,  
Только сахар все далек.  
Так живут и терпят муку,  
И неволю, и разлуку,  
И несут свой приговор,  
Как ни странно, до сих пор.

## Глава 15. Снова этап.

Как ни кормили нас соей и хвоей, а здоровье было у всех нас шибко нарушено. Кончался второй год нашего заключения. И, хотя из больницы многие вышли, и цинга была мерами лечения приостановлена, люди были слабы физически и угнетены морально. Снизилась подвижность, меньше гуляли, многие молча лежали на нарах, угрюмо и одиноко. То тут, то там вспыхивали ссоры. Случались отказы подчиняться. Уже давно «хлеборезка» была для нас раем обетованным. Это была каморка в центре лагеря, в одном из барачков с выходом на «Бродвей». Туда доставлялся хлеб на лошади в фургончике, и появление этого фургончика сообщалось друг другу как надежда на счастье. А пока резали хлеб в хлеборезке на пайки, оттуда доносился такой запах! Такой запах!

Доставлялся хлеб очень нерегулярно и в различном количестве. Последнее время (уже давно) мы редко получали норму полностью (400 г). Поэтому после доставки хлеба он взвешивался в хлеборезке и делился на равные пайки, а слухи об их величине уже ползли по лагерю: «опять по 200», «по 300», «по 250». Иногда вечером привозили хлеб дополнительно, но часто, очень часто мы недополучали хлеба.

Зато каким был его вкус! С тех пор я знаю, что хлеб может пахнуть тысячами ароматов, что он напоминает и мясо, и шоколад, что черствый выгоднее свежего, что горбушка лучше всего, и съедался он сразу. Очень немногие умели отложить кусочек «на потом». Однажды, в период особо сильного голода, в наш корпус вошла Тельманова, и вдруг на нее закричал весь барак: «Что вы здесь нас держите! За что? Есть не даете!!». Это было жутко отчаянно. И Тельманова молчала.

Прошла весна, начиналось лето 1939 года. И вот в лагере началось едва уловимое движение. Словно возродилась вера в близкое освобождение. После долгого перерыва нам снова начали выдавать письма. Первое письмо в нашем корпусе было вручено Анне Лавровой, – в один из ясных дней лета, после обеда. Мы были еще в корпусе. Открылась дверь, и в корпус влетела Аня Лаврова с письмом в руках. Она, рыдая, бросилась на стол и повторяла: «Живы, живы... живы...» Мы ее окружили, письмо было прочитано вслух, – это было начало снятия с нас строгой изоляции. Письма стали выдавать каждый день посла обеда, в определенный час. Их было мало, родные писали, видимо, наудачу. К этому часу мы скапливались перед

комендантской. Полученное письмо было достоянием всех. Владелицы писем не могли его прочесть одни, письма переходили из рук в руки, читались вслух. Кто хотел сначала прочесть сам, тот бежал за корпус, крепко прижимая к себе письмо.

Люди ожили. И как-то, проходя из корпуса на улицу, Тося увидела в коридоре группу наших жен, которые пели и прихлопывали в ладоши, а Берта Плост плясала. Левая кисть руки лежала на бедре, правая полукругом была занесена над головой. Лицо сияло, улыбка была необыкновенная, ее такой никогда не видели. И Тосе казалось, что свобода где-то летит по небосклону и машет. Настолько хороша была Берта, светящаяся и жизнерадостная. Из корпуса вышла Вера Кузьминична Шапошникова и немножко задержалась, глядя на эту сцену. Ее лицо не стало веселым, а наоборот, грустным. Вскоре она вышла во двор. Несколько человек из наших заметили это и последовали за нею. Мы подошли к ней с вопросом: «Людмила Кузьминична, это свобода?» Она посмотрела на нас долгим взглядом и сделалась еще серьезнее и тихо сказала: «Нет, товарищи, это не дом», – и пошла по «Бродвею».

И вот в середине лета нам вдруг объявили этап. И какой! Весь лагерь расформировывался. Как настоящий потревоженный улей, загудел, зашевелился наш лагерь жен. Сколько было неведомого впереди!

Прежде всего были оглашены списки, в которые вошли только «восьмилетки», и то не все. Им было приказано собираться с вещами, и объединили их в один освобожденный барак. Оттуда «пяtilетки» переводились по другим баракам на места ушедших «восьмилеток». Не быстро это делалось, и мы, оставшиеся, ходили вокруг отъезжающих, посылая им последние напутствия, прощались о теми, с кем так тесно успели сжиться. Уезжали Полина, Тося, Мери. Я одна была «пяtilеткой» в нашей компании и совсем осиротела сразу. До сих пор все было для всех одинаковым, а сейчас резко обозначилось значение сроков – 5 лет. У них, у «восьмилеток» судьба была куда суровее: нам оставалось почти три года, а им – шесть!

Кто куда попадет, никто не знал. Им было выдано на этап по небольшой сумме денег из тех, что присылали нам родные. Наши Тося, Полина и Мери решили выделить из этих денег понемногу и дать Шарлотте Мунд и ее друзьям – немецким коммунистам, не получавшим ниоткуда ни денег, ни посылок. Так и было сделано. Одна дала Шарлотте еще галоши, так как у нее были только лодочки. Как они были тронуты!

Впоследствии, попав на Колыму на ст. Магадан, как я узнала из писем, Шарлотта была там одета тепло во все новое, казенное, и работала там на строительстве. Люди там не нуждались больше в одежде и обуви. Жизнерадостная Шарлотта не тяготилась работой, и работала с увлечением. Она как-будто даже помолодела. Прошло около месяца, и Шарлотта, простудившись, заболела и умерла. Очень тяжело перенесли эту утрату знавшие ее. Эту немецкую коммунистку хочется помянуть добрым словом, она заслуживала этого.

В момент отъезда «восьмилеток» мы еще не знали, что их повезут на

Дальний Восток, в Магадан. Долог и труден был их путь поездом, а потом пароходом по бурному Охотскому морю. Суров климат Магадана. Там ждала их швейная фабрика и другие лагерные работы.

Нас, «пятилеток», ожидало на станции Яя также швейное производство.

## Глава 16. Яя.

«Пятилеток» отправили в этап осенью того же 1939 года, как раз через 2 года после ареста. Была среди нас и часть «восьмилеток», но их было мало. Отправили нас недалеко, на ст. Яя Томской железной дороги. Лагерь на станции Яя оказался очень большим, на несколько тысяч человек, почти одних женщин, но были и мужчины.

Для нашего этапа, такого многочисленного, было освобождено несколько бараков, куда нас и поселили. Нам объявили карантин, как вновь прибывшим, и мы две недели провели в закрытом помещении, куда нам доставляли пищу.

Кормили здесь лучше, чем в Томске, обильнее. Но качество было заметно хуже: в Томске наши жены очень старались приготовить своим товарищам получше и почище. Здесь же суп был без аромата, разболтан-переболтан, в нем было много черной картошки, плохо нарубленной капусты и т. п. А хлеб выдавали здесь точно по 400 гр.

Бараки здесь были сходны с нашими – такие же длинные корпуса с нарами в два яруса. Некоторые были вагонной системы, т. е. не сплошные нары, а попарно в два этажа, с проходом между ними. Но побелены были кое-как, здесь казалось темнее и грязнее. Впрочем, никаких паразитов, даже клопов, не было. Здесь так же, как это было в Томске, часто делались дезинфекции всякого рода.

Разумеется, здесь был строгий режим дня, и были частые «поверки», переключки и пересчеты. А уж каждый вечер – это обязательно проверка перед сном. И, если подсчет не сходился, если солдаты (все наблюдения за нами вели солдаты) ошибались в подсчете, нас считали и пересчитывали до тех пор, пока не сойдется. Уж и не любили мы их! Грубые, невежественные, бессердечные как на подбор. Я часто думала: такова их работа. Солдат обязан жестоко нами командовать, и им строго запрещено с нами общаться. Солдат связан дисциплиной и не выбирает себе места службы. Но насколько счастливее удел других солдат, занятых на военных объектах. Там служба совсем иная, а эти поставлены надзирать за нами, заключенными, путем давления физического и морального. И, наверное, эта работа ожесточает. Но сколько ни рассуждай, а для нас они были враждебны.

Карантин был томителен – бездействие и отсутствие прогулок. Была греховная мысль о будущем в новой суровой обстановке.

Новостью было радио, его мы не видели в Томске, а здесь, в бараке, полагался репродуктор. К сожалению, нервы у многих из нас были так обнажены, что радио, даже лучшая музыка, были тяжелы и переносились с трудом. О себе этого не скажу – я была рада передачам, хотя и не всем.

Репродуктор действовал не весь день, а в определенные часы.

Помню, наших жен в момент особой тоски. Здесь не запрещали негромко петь, и люди вкладывали много чувства в обычные, казалось бы, слова. Красиво это было и ново. Вот поет целый угол барака. Много голосов на большом пространстве. Остальные замолкают, слушая, и нередко просят еще. Пели «Жили два друга в одном полку», пели «Шумит, шумит, высокая пшеница», и многое другое, но чаще всего пели наши тюремные: «Спускается солнце за степи», или «Сижу за решеткой в темнице сырой». Пели приглушенно, но от этого песни только выигрывали.

И вот окончился этот карантин. С вечера нам объявили, что бы утром мы были готовы утром идти на работу и выдали всем одежду «третьего срока». Это были замасленные бушлаты и ватные штаны, из дырок на них торчала вата, да огромнейшие валенки, подбитые и снова изношенные. Одежда эта, из-за постоянной просушки в сушильных камерах имела запах подожженной ваты, и трудно было заставить себя одеть эти вещи.

Утром на работу взяли не всех: половина пойдет во вторую смену. Я попала во вторую. Двери барака были уже открыты для то, что при карантине. Было снежно. В Сибири рано ложится снег с морозами. Пренебрегая, пока можно, казенной одеждой, мы выходили налегке – платья на нас были тоже уже казенные, но они были новее и чище ватных доспехов.

Территория оказалась большая, очень большая. Лагерь на станции Яя оказался давнишним, способным обслуживать нужды тысяч людей. Была большая столовая с кухней при ней, успевавшая как-то в несколько смен обслужить всех. Была хлебопекарня, техмастерские, больница, контора и даже клуб. Все это были отдельные большие бараки. Очень много было жилых бараков, а в стороне, отделенные высоким забором из целых бревен, стояли особо два барака, БУР, – бараки усиленного режима, куда сажали провинившихся. Нечего сказать, прочно они оборудованы!

Были в лагере и мужчины, но мало, и содержали их особо, общаться было запрещено. Забегая вперед, скажу, что этот запрет всячески нарушался, и в лагере нередко рождались дети, в том числе, бывало, и у наших «жен». Дети были источником большого горя, так как их оставляли с матерями до года, до двух, а потом отправляли на волю в детдома, а несчастные матери были неутешны. Жили матери с детьми в отдельном бараке, и их звали «мамки». На работу они ходили тоже.

Но самое важное и новое для нас обстоятельство было общество уголовников. До сих пор они были здесь в большинстве исключительном. Теперь, с нашим приездом, их хотя и было больше нас, но и мы имели вес своею массой. Это много значило: сидевшие здесь политические заключенные сильно страдали до нас от уроков и просто хулиганов, хотя бы и в юбках.

Разумеется, далеко не все сидевшие по уголовной статье, или «бытовики», как их еще называли, были людьми отпетыми. Нет, среди них были многие, попавшие за небольшую растрату, или за аварию, совершенно нечаянно. Было немало посаженных по громкому делу, где они были как раз



пешками, а главари успели избежать ареста. Но определенный контингент настоящих уголовников был также немал. А главное, они держались особо, очень спаянно, задиристо и бесстрашно. Они умели так дерзко, и в то же время смешно ответить конвоиру, что те с ними были как-то милостивее, чем с другими. Ну, а со своей братией, з/к, они и вовсе не считались. Лучше не попадайся на узком месте. Нас, политических, они дружно презирали и считали изменниками, а потому ниже себя. Был у них какой-то патриотизм и понятие, что мы «хлюпики», да еще антисоветские.

Облик этой части бытовиков еще неотделим от вечного сквернословия. Они так привыкли к нецензурным словам, что пересыпали ими речь всегда и везде, даже когда говорили о себе. Слышать это было противно и страшно, а многое было даже непонятно и ставило в тупик. Что хочет сказать такая бойкая девчонка? Их язык был еще засорен блатными словечками, многие из которых мы скоро стали понимать, но и то – не все.

Удрученные всем увиденным, забрались мы в ожидании выхода на работу, на свои нары, хмуро переговариваясь.

## **Глава 17. Работа.**

Нас, новеньких в этом лагере, сначала отправили на «общие работы». Повели нас за зону (зоной называется территория свободного хождения зека, ограниченная забором). Было морозно и быстро темнело. Остановили наш строй (за зоной всегда водят, четким строем в сопровождении многочисленных конвоиров) и дали нам участок, где требовалось долбить землю под какое-то строительство. Дали нам кайла и работа началась. Это первая работа была тяжела и уныла, люди с непривычки и ослабленные уставали просто сразу. Было темно, прожектор освещал территорию, но в глубине котлована царил тьма. Можно себе представить, как тяжело было кайло и как неподатлива мерзлая земля. Охватывало отчаяние. Так вот она, желанная встреча с работой! Это вылилось во что-то непосильное, и была трудна, а результатов почти не давала.

Умные, более стойкие из нас подбадривали и затянули песню. Эту песню я до сих пор помню и люблю.

На рыбалке у реки  
Тянут сети рыбаки.  
Тянут, песню напевая.. и т.д.

Песня пелась так красиво, так тихо и поневоле грустно. Она оказалась просто алмазом в той удручающей обстановке. (Есть у меня сейчас пластинка с этой песней, и я по-прежнему люблю ее слушать).

Ну, эти «общие работы» длились недолго, несколько дней. Потом явилось начальство из КВЧ (культурно-воспитательной части) и провело беседу о здешнем режиме, о правилах поведения, и о тех задачах, которые отныне будут перед нами, так как нас переведут работать на фабрику, где

доверяют нам оборудование и материалы. На выработку существуют нормы, и от нас будет зависеть, как мы обеспечим себя – и норма хлеба в день и другое питание, и даже одежда будут выдаваться в зависимости от нашей выработки. Кроме того, идет небольшое денежное вознаграждение, также сдельно.

На другой день нас повели на фабрику. Это было швейное производство, расположенное также в бараках, в зоне нашего лагеря. Ряд швейных машин с электроприводом через фракцион (или фрикцион еще говорят) гудели в работе и могли давать большую скорость. За исправностью машин наблюдали механики (обычно мужчины зека) и еще фракционщицы. Те и другие были из бытовиков. Они встретили нас недружелюбно, а сами работали через пень-колоду. К тому же они не были сдельщиками, их пайка шла им в полной мере за выход на работу, а не за качество.

Распределили детали каждой из нас, объяснили требования-технологии и работа началась. Некоторые из нас быстро освоились с машиной, и выработка их подошла к норме и даже начала превышать ее. Другие трудились изо всех сил, но машины их часто портились, останавливался фракцион и приходилось то и дело звать механиков и фракционщиц. Это была настоящая беда, потому что те не хотели трудиться, найти их было трудно, и всякий раз они ругали ту, у которой портилась машина. Особенно, кажется, страдала я: кроме неумения и какой-то органической боязни их ругани, я еще была сильно близорука, и даже при исправной машине моя выработка была просто хуже всех.

Вот где было горько до полного отчаяния! На фабрику я шла, как на гибель. Чего я только не передумала там, когда снова и снова останавливалась у меня машина, а я боялись звать механика. И, когда подсчитывалась моя постыдная выработка, я сгорала со стыда, а назавтра повторялось то же самое. Этот период работы на фабрике для меня был недолг – около месяца, но до сих пор тяжело вспоминать. Ну, конечно, написала я и стихотворение:

Много фабрик стоит на родной стороне,  
Говорят, весела там работа.  
Из тех фабрик одна в жизни встретилась мне,  
И такая, что жить не охота.  
Эх, машинушка, друже!  
Без механика никак нейдет.  
Подмажем,  
Подмажем,  
Все ху-у-же!  
Фракционщице лень,  
Пропадает весь день  
По всякому поводу злится.  
А механик-подлец

Изругает вконец,  
Так, что страшно к нему обратиться....

Припев

Если вата плоха  
И в прорыве цеха,  
«Объективных» причин не бывает.  
Нам вредительство тут  
С легким сердцем пришьют  
И «статья» каждый миг угрожает.

Припев

Дело в том, что с нами по-прежнему разговаривали, как с людьми антисоветскими, от которых можно ждать вредительства. На этом основании было очень удобно оказывать давление на нас именно угрозой «второй статьи».

Цеха шили телогрейки и ватные брюки. Выполнение плана зависело от многих причин, и более всего от наличия и качества сырья. Не на всяком материале можно давать большую скорость пошива. Но от нас этого требовали. Требовали прямо под угрозой предъявления статьи за саботаж и вредительство. К счастью, наши жены, по прошествии первых дней ознакомления с техникой порученного дела, стали уже наращивать темпы, и довольно скоро достигли заветной нормы и стали постепенно ее перевыполнять. Это нас спасло. Искреннее желание работать хорошо помогло освоить дело в настолько краткие сроки, что наше начальство вынуждено было замолчать: наши жены уже через месяц работали не хуже старых «машинисток».

А дело шло и шло вперед, проценты выработки росли. С тех пор на фабрике показатели выработки выше всех были у наших ЧСИРов: 150-200% были совсем не редкостью. А надо сказать, что зека везде работают с прохладцей. Люди знают, что им надо вынести немалый срок, и что силы свои нужно благоразумно беречь. Нигде я не видела впоследствии такой замедленной работы, как в местах заключения у бытовиков. Не то оказалось у наших. Они работали в полную силу, насколько позволяло здоровье. Без оглядки на будущее. Этим они невольно приостановили всякие нападки со стороны начальства.

На фоне этой картины неспособность некоторых из нас, как это было со мной, уже не вызывала явного недоверия, и таких людей переводили на другие виды работ, более для них подходящие. Я попала по своей специальности – меня перевели в бухгалтерию. Да и многих перевели работать по специальности, например, врачей. Вот когда я поверила своему счастью! Неужели осталась позади эта попытка, когда стараешься так безрезультатно, за это ругают и начальство, и механики, получаешь самое низкое питание, и еще как стыдно перед своими товарищами! Ведь отстающая на конвейере портит дело тем, кто идет за нею.

Ну, на этом я думаю кончить повесть о наших «женах», или, вернее, ЧСИРов, так так были и сестры и матери осужденных.

В дальнейшем ничего специфического, присущего только нам, не было. Общий режим, общие условия быта в лагерях. Только эта высокая выработка осталась у наших жен на весь срок их заключения. Да еще была особенность: к нам не применяли дальнейших репрессий, так как мы уж очень хорошо работали и были дисциплинированы, но нам демонстративно указывали во всем на последнее место, как врагам народа. А в дни праздников, когда лагерники не работали, и для них устраивались доклады и концерты в клубе, нас еще накануне праздников вечером сразу после работ, запирали в БУРе как опасный элемент, слишком опасный...

### **Послесловие.**

Наши надежды на «разбор» наших дел и досрочное освобождение оказались наивны. Все мы отбыли в лагерях свои сроки, мы – на Яе, а другие – в Магадане. И даже чуть больше срока: из-за массового освобождения (как когда-то были массовые аресты), нас не успевали оформлять на освобождение, и взятые 3 сентября, были выведены из лагеря 27 сентября, и отвезены на ст. Чугунаш Кемеровской области, на один из лесозаводов страны, где нас и закрепили на работу. Шла война, и в ту пору люди закреплялись за производством. Никаких документов на руки не выдали, их сдали прямо в отдел кадров.

Ну, а много позже, в июне 1957 года, мною была получена почтой справка о моей реабилитации. Мне была выдана зарплата за два месяца по среднему заработку до ареста в Ленинграде и тоже была выслана почтой.

В течение этих 20 лет я много-много раз посылала запросы о судьбе мужа – и из лагеря, и после, с «воли». Ответов не было. Получив свою реабилитацию, я снова написала запрос о муже. Наша судьба была связана. Моя реабилитация могла вытекать именно из его реабилитации. Через полгода я получила один за другим два документа: справку о смерти мужа в 1942 году и справку о его реабилитации «посмертно».

Чтобы быть объективной, надо добавить, что и за мужа мне была выдана его зарплата за два месяца, и за наше пропавшее после ареста имущество тоже. Кроме того, реабилитированным предоставлялась жилплощадь в городах, откуда они были взяты. Но этим я тогда не смогла воспользоваться по семейным обстоятельствам, к большому сожалению. Я по-прежнему любила Ленинград, и жить там для меня было бы великой отрадой.

Недавно, в 1969 году, я ездила с сыном Митей и его семьей погостить в Ленинград. Там мы встретили своих родственников, и я встретила еще своих друзей по заключению, реабилитированных, как и я. Это были Полина Пахнова, Тося Ушакова, Мери Литманович и Клара Пружанская. Встреча была настолько волнующей, что описать нельзя. Мы сфотографировались вместе, и я берегу эту фотографию, как одну из самых дорогих моему сердцу.

Было много рассказов о том, что испытала каждая после того, как их увезли в Магадан, а меня на Яю. Два эпизода, произошедшие с ними, запомнились мне ярко.

Один эпизод – в пути. По железной дороге идет поезд все далее к востоку. Это опять теплушки с зарешеченными окнами – везут заключенных. На сибирской станции Зима поезд остановился. И одна из заключенных просит прохожих дойти до такого-то дома и сказать детям, что в поезде едет их мать. Прохожий кивнул, прибавляет шаг и исчезает за поворотом. В вагоне волнение. Это вагон так называемых «жен». Все волнуются за свою товарку в надежде, что она увидит все же детей: на эту станцию их взяла на воспитание ее очень дальняя родственница, оказавшаяся в момент ареста у нее в гостях. И вдруг появляются уже пожилая женщина и дети, мальчик и девочка, лет десяти-одиннадцати. А поезд готов к отходу. Уже слышен свисток начальника станции. Несчастливая мать, прильнув к решетке, кричит сквозь рыдания – она просит беречь ее детей. И та женщина, вдруг обняв их обоих сразу, успела крикнуть: «Не беспокойся, все для них сделаю!» А поезд уже шел, и мать ей кричала: «Целую твои руки!» И это было последнее в этой короткой сцене. И все, кто с нею ехал в вагоне, были потрясены. А поезд двигался мимо какой-то школы с крупной надписью: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»

Второй эпизод тоже о ребенке. В Магадане, подобно Яе, тоже оказался большой лагерь и там швейное производство. Но лагерь был лучше снабжен, всем вновь прибывшим выдали новую одежду казенного образца, но чистую и теплую. Разрешалась там и переписка, как на Яе. Одна молодая женщина из жен, Сара Рискин, очень горько и долго плакала над полученным письмом. Оказалось, ей писала сестра, где осталось ее единственное дитя, ее сыночек. А сестра пишет, что они с мужем усыновили его... кто же она для него теперь? И в ответ она написала сестре, что не будет ей больше писать, незачем... Но сестра ее была хорошей и умной женщиной. Она поняла её горе и в ответном [иське объяснила сложные мотивы их с мужем поступка. Дело в том, что мальчику было скоро пора в школу. Разница фамилий его приемных родителей и его собственной, породили бы много трудных вопросов у него и у его товарищей по школе. А дети так бывают безжалостны. И вот эта добрая семья решила, что лучший выход – усыновить мальчика. А сестре она добавила в конце письма: «Не горюй, Сара, твой Изя будет только счастливее, ведь у него теперь две матери». Прошло два года. Сара вышла замуж, и вот у нее уже девочка. И новая семья. Она любит своего Изю тоже, но мальчику тепло в его второй семье, а кто знает, как повел бы себя, по отношению к нему его второй отец?

Труден детский вопрос, когда арестованы родители, и, в особенности матери. Это самый трудный вопрос, вытекающий из эпопеи ареста с последующей реабилитацией, с точки зрения государственной.

\* \* \*

К счастью, и я уже 10 лет снова живу в родном Ленинграде и люблю его, как живого. Здесь я родилась. И Митюша, мой сын, каждый год приезжает ко мне в отпуск. Если бы и ему с женой удалось снова жить здесь! Ведь и он – уроженец Ленинграда!